



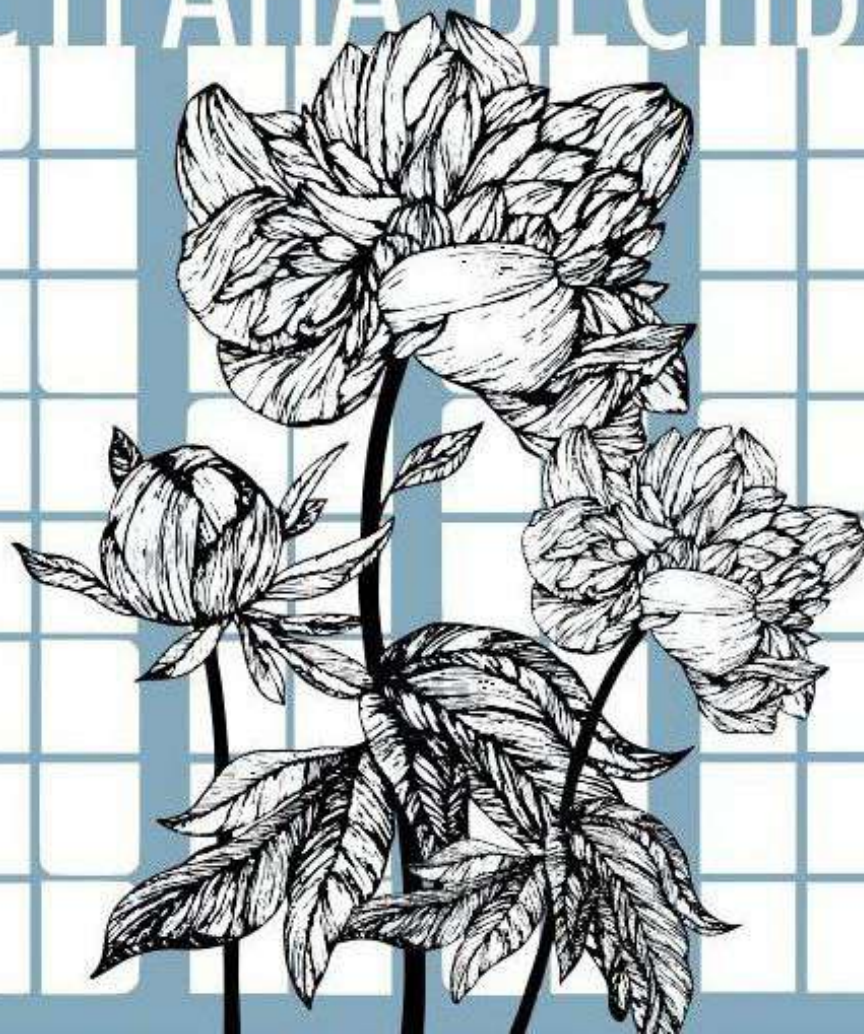
**Ирина
Иваськова**

Выйти из вагона мать не решилась. Она стояла, крепко держась за поручень, и глядела на усыпанную светлым гравием дорогу и небольшой пруд, окружённый сухими, изломанными стрелами камышей. Зябли в воде деревянные мостки, где-то далеко лаяли собаки, а колкий утренний холод марта даже не обещал весну. Мать подумала, что пруд, и тёмные дачные домики, и прошлогодняя трава – всё это скучное, простое – она не увидит больше никогда; что через пару месяцев здесь будет зелено и шумно, а она никогда больше этого не увидит. И ей вдруг захотелось зашагать прямо в тапочках по дороге, чтобы камешки скользили под ногами, пройти по дощечкам мостка и опустить в холодную воду кончики пальцев, обернуться, посмотреть на медленно трогаящийся, набирающий скорость поезд, а потом остаться совсем одной.



**Библиотека «Новое имя»
Союза писателей России**

Ирина Иваськова
СТРАНА ВЕСНЫ



Ирина ИВАСЬКОВА

СТРАНА ВЕСНЫ

Рассказы

Москва
«Российский писатель»
2023

УДК 821.35
ББК 84(2Рос=Рус)6
И 25

Ирина Иваськова. Страна весны. *Рассказы*. — Москва: Редакционно-издательский дом «Российский писатель», 2023. — 128 с.

ISBN 978-5-91642-359-4

ISBN 978-5-91642-359-4

© И. Иваськова, 2023 г.
© «Российский писатель», 2023 г.

ТЕКТОНИЧЕСКИЕ РАЗЛОМЫ, «НЕГЕРОИ» И НАДЕЖДА НА ЛУЧШЕЕ

В современном российском литературном пространстве имя Ирины Иваськовой знакомо многим. Ирина состоит в активе Союза молодых литераторов при Союзе писателей России, регулярно публикуется в толстых журналах (приличная часть вошедших в этот сборник рассказов уже увидела свет в «Нашем современнике», «Подъёме», «Дне и ночи» и других изданиях), пишет весёлые и познавательные повести и рассказы для детей, которые выпускает петербургское издательство «Антология», и ко всему прочему возглавляет анапское молодёжное литобъединение «Авангард», в 2021 году признанное лучшим в стране.

Книгу «Страна весны» поклонники творчества Ирины Иваськовой ждали давно: дебютный сборник «взрослых» рассказов «Бумажный саксофон» вышел в Краснодаре в 2016 году. Всё это время автор накапливала материал и традиционно подошла к процессу отбора максимально въедливо и придирчиво, оставив лишь самые важные, выверенные до запятой тексты.

В 2023 году на Всероссийском литературном форуме СПР Ирине присудили премию «Слово». Итогом признания стало издание этой книги, ставшей очередной качественной ступенью для самобытного, чуткого, выработавшего легко узнаваемый почерк писателя-гуманиста.

Иваськова принадлежит к поколению сорокалетних, на долю которого выпало немало потрясений: застав умиротворённый «хвостик» советского застоя, они видели конвульсии умирающей огромной страны и вместе со своими растерянными родителями выживали в «лихие 90-е», а, когда более-менее начала восстанавливаться надежда на спокойную жизнь, столкнулись с COVID-19, специальной военной операцией, мобилизацией и другими испытани-

ями, на которые столь щедро наша неприветливая эпоха. Будто известное китайское проклятие про эпоху перемен адресовано именно нам.

Однако принцип автора — рассказывать не о событиях, которые всем и без того известны и деликатно остаются за кадром, а об их влиянии на людей: самых простых, негероических, по-пушкински-гоголевски-чеховски «маленьких». Из тех, что мы каждый день встречаем в своём подъезде, с которыми едем в переполненной маршрутке и стоим в очереди в супермаркете.

Зачастую крайне сложно рассмотреть, какие тектонические разломы происходят в душе человека, привычный и уютный мир которого под воздействием внешних, никак и ничем не контролируемых обстоятельств внезапно даёт крен и стремительно катится под откос, сколько горя может скрываться за потупленным взглядом или влажными глазами.

Ирине это удаётся, потому что она своих героев искренне любит и всей душой сочувствует и перипетиям их непутёвой жизни, пролетающей «быстро и горько», и каждому из них — без исключения: сочиняющей никому не нужный фэнтези-роман Елене Николаевне и бородатому мужчине в камуфляже, который вернулся домой, но всего-то на одну неделю («Страна весны»), безымянной беременной «старородке» и её говорливой соратнице по несчастью Веронике («Подозрительные вещи и забытые предметы»), убегающей от таинственной угрозы Кате и её матери, совсем как квохчущая наседка опекающей любимую дочь («Куриная слепота»).

Счастливых персонажей отыскать на страницах почти невозможно, но и назвать их поголовно несчастными неверно. Герои Иваськовой со своими радостями и бедами, исключительным рационализмом или лёгкой степенью безумия, смехом и рыданиями — плоть от плоти того самого российского среднего класса, который и составляет основную часть населения нашей гигантской страны. Они влюбляются и расстаются, изменяют и подличают, спасают и предают — живут. И у каждого — своя история, свой

щедрый внутренний мир, в который появилась возможность заглянуть у читателя.

Каждая новелла в этой небольшой, но ёмкой книге — фрагмент большого живописного полотна, на котором автор, никого ни в чём не осуждая и не оправдывая, рисует эпизоды судеб не великих, но от этого ничуть не менее заслуживающих внимания людей. И делает это тонко и умно, выверенно, изящно и точно используя мелодику русского слова.

Как правило, писатель оставляет концовки рассказов открытыми. Будто выхватывает из пёстрой киноленты персонажных судеб галерею случайных кадров, показывает героя в моменте, а затем оставляет наедине с его неурядицами, понимая, что на смену решённой проблеме неизбежно придёт новая. На этом и основан жизненный круговорот или, говоря терминологией Иваськовой, «формула круга», весь наш путь от рождения до заката, принцип которого схож с жёстким обучением плавать, когда тебя толкают с мостка в речной поток, а дальше как-нибудь сам: выплывешь или нет — зависит только от тебя.

И очень хочется верить, что недотёпистая собачка Милка после встречи с отороженными хулиганами останется такой же весёлой, живой и невредимой, Елена Николаевна завершит и даже выпустит свой роман, героиня «Подозрительных вещей» станет матерью прекрасного мальчишки с солнечным именем, а хмурый бородатый сосед в камуфляже, как и тысячи подобных ему мужчин, вернётся домой, к жене и дочке, к родным, которые его ждут. Но мы понимаем, что всё не так однозначно... И в то же время надеемся на лучшее, ведь самый чёрный час — всегда перед рассветом, да и автор, отпуская своих «негероев» в самостоятельное плавание, желает им лишь добра, которого катастрофически не хватает в нашем жестоком мире.

Сергей ЛЁВИН

СТРАНА ВЕСНЫ

Женька умерла седьмого февраля.

Я узнала об этом через неделю, поздним вечером, из чата бывших одноклассников. Девочки охали, писали что-то длинное, торопливое, и я тоже написала что-то испуганное и бессмысленное. Мальчики — теперь сорокалетние солидные мужчины — торжественно молчали.

Потом я легла спать, но долго не могла уснуть и смотрела в темноту, вспоминая, что Женька приснилась мне в самом начале февраля, и я ещё хотела запомнить этот сон и, конечно же, тут же его забыла. Но она снилась — я помнила точно, и теперь это было особенно важно. Потом я вспомнила, как тридцать пять лет назад мы с Женькой ходили по огромной луже босиком. В середине лужи нам было по щиколотку, мягкая грязь скользила под ногами, а вода была тёплая, нагретая солнцем.

«Это несправедливо, несправедливо!» — писали девочки в чате. Но справедливости я давно не ждала и удивлялась — неужели кто-то ещё всерьёз рассчитывает на неё?

* * *

В окнах онлайн-конференции мелькали незнакомые лица. Я, по счастью, ничего не должна была говорить, могла выключить свои видео и звук, и только слушать. И я слушала и одновременно думала про вчерашний вечер, странно замедлившийся от известия про Женьку. Вечер тянулся, тянулся, но прошёл; прошла ночь, наступило утро, и каждый из бывших моих одноклассников теперь был занят своими делами. Вот и я занималась чужими стихами, чтобы потом, когда-нибудь, не повторить чужих ошибок.

Немолодая женщина, спотыкаясь, читала что-то о смерти солдата. Герой её стихотворения падал на землю, прижимался к ней щекой и вспоминал о маминых глазах.

Женщине было жалко солдата и его маму, и ещё тысячи других солдат и мам, она читала и хотела плакать. Я тоже чувствовала жалость — но не к герою, а к ней. Где-то прямо сейчас солдаты действительно падали на землю, но она, как и я, не могла себе представить, а уж тем более описать ничего из того, что происходило дальше. Слова «взрыв», «кровь» и «окопы» в её устах звучали также, как звучали бы «сон», «руки» или «слёзы», да и вообще стихов писать ей не стоило.

Когда она замолчала, молоденький поэт принялся отчитывать её за сбой ритма и дешёвые рифмы. Он так и сказал — дешёвые, а его лицо, даже сквозь уродующее кого угодно онлайн-окно, светилось такой драгоценной красотой и юностью, что смотреть на него было больно.

Женщина краснела, кивала и что-то записывала. Вот бы взглянуть на эти записи — неужели она и вправду будет потом пересчитывать слоги и подбирать новые рифмы? Юный поэт замолчал, заговорил какой-то мужчина — некрасивый, с резким, неприятным голосом, и я совсем перестала слушать.

* * *

Зимой маленький приморский город похож на хрупкую, тонко сработанную игрушку. Если смотреть на город с высоты, то кажется странным, что нет вокруг него каменных стен с бойницами и подъёмными мостами. Страшно жить так — у самой воды, без всякой защиты. Вот бы накрыть эту игрушку прочным стеклянным куполом, а потом встряхнуть и смотреть, как плавно скользят по мокрому стеклу песок и крошки ракушек.

Песчаный берег уходит в ледяную воду, а когда начинается шторм, волны отчаянно колотят бетонные пирсы — так, что бетон крошится и обнажает свой ржавый арматурный хребет. В солнечные и безветренные дни море становится прозрачным и голубым, но его игра и блеск обманчивы. Вода по-прежнему ледяная, тёмные облака толпятся у горизонта, и гудит, гудит над головой серый самолёт с толстыми крыльями...

Я бежала к автобусу, прижав к себе сумку и пакет, а вокруг меня на нетвёрдо сидящую брусчатку тротуара лежали мелкие горошинки снега. Они тут же таяли, и мой пуховик, шарф и ботинки тоже становились горошчатыми, темнели. Водитель дождался меня, принял горсть монеток и закрыл двери. Я уселась у окна, ощутив вдруг странное смирение и что-то вроде уюта. Никогда раньше мне не было уютно в самой себе, да ещё и не дома — для уюта всегда нужны были тепло и сумерки комнат, и я даже прикрыла на секунду глаза, стараясь удержать это новое впечатление и сберечь его. Острые снежинки застучали в грязное стекло и тут же превратились в дождь — обычное для южной зимы дело. Я сняла перчатки и достала телефон.

Чат одноклассников молчал, но одно сообщение было — голосовое, с незнакомого номера. Я машинально включила его, и какая-то женщина, волнуясь, сообщила мне, что я очень добрая и, конечно, не откажу ей в просьбе.

— ... Знаю, что вы не откажете, — торопливо повторила она, — мне просто совершенно не с кем поговорить о своей книге, а вы хороший редактор и очень, очень добрая, мне так сказали...». Сидящий рядом мужчина покосился в мою сторону, и я закрыла сообщение, не дослушав.

* * *

Она стояла у центрального входа, съёжившись от холода. Я почему-то сразу поняла, только взглянув на её основательное пальто и белую вязаную шапочку, что это та самая вчерашняя незнакомка. Сообщение от неё я так и не дослушала, удалила и номер её заблокировала. Должно быть, я оказалась не такой доброй, как ей говорили, и теперь мне было немного стыдно, но больше досадно: не поленилась бы вчера, ответила что-нибудь, и не было бы этой дурацкой встречи и этого незнакомого лица. Незнакомых лиц мне сейчас не хотелось. Мне вообще не хотелось выходить из дома и уж тем более идти на работу, а хотелось думать про Женьку и стараться вспомнить тот сон — вдруг она хотела сказать мне что-то важное на прощание?

Но лицо незнакомки мне неожиданно понравилось — глаза у неё были печальные и аккуратно покрашенные, и видно было, что ей тоже очень неловко.

Она назвала меня по имени и представилась сама — и звали её хорошо: Еленой Николаевной.

— Администратор сказал мне, что вы сегодня будете с девяти до двенадцати, — сказала она. — Простите меня, пожалуйста, за вчерашнее сообщение. Я только потом сообразила, как глупо и неприятно это всё может выглядеть. Мне, правда, очень нужно с вами поговорить. Ну, вот так получилось, что я никому не могу о своей книге рассказать, — она смущенно улыбнулась, — представляете, даже мужу.

От её смущения и улыбки остатки вчерашнего странного смирения качнулись во мне, и я улыбнулась в ответ.

— Пойдёмте, ветер такой ледяной. Вы бы лучше подождали меня внутри. Вы тоже меня извините, что не ответила вам вчера. Я вчера была... Занята.

— Я думала, всё это пройдёт, — бормотала она мне в спину, пока мы поднимались по лестнице в мой кабинет. — Я вообще-то экономист, бухгалтер, мне уже пятьдесят три года, и представляете, в таком возрасте и вдруг какая-то книга. Но никак она мне покоя не даёт. Мне просто рассказать вам нужно, и если вы скажете, что это всё глупо, то я ничего вообще писать не буду.

Без пальто и шапочки Елена Николаевна оказалась полноватой, коротко стриженной, одетой в зелёное трикотажное платье. Она сидела напротив, смотрела куда-то мимо меня в окно и всё говорила и говорила.

— Понимаете, я придумала так: есть такой волшебный мир, он разделён на четыре страны — лета, осени, зимы и весны. В стране лета очень жарко, пески кругом, пустыня. Люди там чернокожие, вроде африканцев, кудрявые, танцуют красиво и поют. А в стране осени всегда прохладно, на золотых деревьях зреют разные плоды, а люди там живут рыжие и смуглые. В стране зимы всегда снег, и все блондины, белокожие, воинственные такие, как викинги, и всё охотятся на зверей. А страну весны и её жителей

никто никогда не видел, потому что они с помощью колдовства ото всех закрылись и никого к себе не пускают. Главная героиня — из страны лета, и её отец — царь этой страны. И вот однажды его нашли мёртвым. Колдун сказал, что его убили люди весны, чем-то он им не угодил. И дочка решила отомстить. Поехала сначала в страну осени, и там познакомилась с мужчиной из страны зимы, он тоже царь, но только молодой. И они, как бы вам это сказать, полюбили друг друга.

Она говорила всё медленнее и тише, и по-прежнему не смотрела на меня.

— Да, они полюбили друг друга очень сильно. И вместе отправились искать страну весны и мстить за папу. Он был царь, понимаете, да? И вдруг умер... Тяжело без отца.

Елена Николаевна замолчала.

— А что было дальше? — спросила я. — И почему вы не можете рассказать о книге мужу?

— Что было дальше, я ещё не придумала, — сказала она и наконец-то посмотрела мне в глаза. — А мужу рассказать не могу, потому что он будет ревновать.

— К книге?

Она пожала плечами так, будто объяснять тут совсем нечего.

— Нет, конечно, не к книге. А к тому человеку, который из страны зимы. Ну, который как викинг.

— Понятно... — вздохнула я. — А вы сможете оставить мне то, что уже написали? Мне так, со слов, трудно оценить.

Елена Николаевна с готовностью достала из кармашка платья флешку и встала.

— Вы мне напишете, когда прочитаете, да? Вы простите, пожалуйста, я правда не хотела вас беспокоить. Но так уж получилось.

Она надела пальто и шапочку, ещё раз извинилась и ушла.

* * *

...Вот бы взять Женю, но не ту, сорокалетнюю, которой она умерла, а восемнадцатилетнюю, и познакомить с этим молоденьким поэтом. У неё всегда были невероятно

красивые мальчики, но он красивее их всех. Взять бы и отменить — и прошедшие годы, и её болезнь, и смерть, как-то всё хитро перемешать и соединить их в одном времени. И пусть бы они жили долго и счастливо в каком-нибудь волшебном мире, вот хотя бы в этой ненаписанной книге, и пусть бы Женя стала самой летней, самой солнечной принцессой. А этот мальчик-поэт как раз блондин. Пусть отпустит белую бороду, и будет вылитый викинг.

Мои мысли металась от печальных глаз Елены Николаевны к той самой тёплой луже, по которой мы ходили босиком; от красивого поэта к юной Женке — было в ней, в самом деле, что-то африканское, в русской-то девчонке — какая-то грациозная удлинённость, точность всего тела, пластичность в любом шаге и движении... Потом мне стало стыдно от своей жестокости — зачем я дарю Женю неизвестному поэту, отправляю в какую-то глупую книгу и отбираю у настоящего мужа и детей? Нет, пусть уж всё останется так, как было, но она не умрёт, просто не умрёт — и всё.

Я подключила флешку, открыла единственный на ней документ и прокрутила текст на несколько страниц вниз.

«... Не верь колдуну, Джуа! Он ненавидел твоего отца и тебе желает только зла. Ты не сможешь ничего исправить. Не уходи, оставайся здесь и правь нами вместе со своей матерью и сёстрами!

Джуа фыркнула и оттолкнула старуху. Потом вскочила и яростно дёрнула золотой шнурок, поддерживающий её высокую причёску. Шнурок лопнул и копна чёрных как ночь пушистых кудрей упала на плечи и спину девушки.

— Замолчи. Я велела тебе принести ножницы! Где они?..».

Я машинально поставила запятую и пролиставала ещё десяток страниц.

«...Он смотрел на Джуа, не отрывая глаз и с огромным удивлением. Ведь жители страны зимы очень редко встречались с жителями страны лета. Для зимних людей чёрная кожа и чёрные волосы были диковинкой. А Джуа тоже застыла в удивлении, отчего стала похожа на изящную ста-

туэтку из полированного тёмного дерева. Ещё никогда она не видела мужчину с такими светлыми, почти белыми волосами и голубыми глазами, похожими на драгоценные камни в её девичьем ожерелье...».

Я пролистала текст до конца. На предложении «И тогда Джуа сама протянула к нему свои руки...» он обрывался. Елена Николаевна аккуратно пронумеровала страницы и украсила каждую своей фамилией и названием романа.

«Джуа в стране весны» — прочитала я зачем-то вслух и нажала на крестик в правом верхнем углу страницы.

Мужчина с большим, плотно набитым какими-то тряпками пакетом медленно шагал мне навстречу. Высокий и широкоплечий, в камуфляжных брюках и куртке, обросший лохматой трёхцветной бородой — седой, чёрной и рыжей, он шёл неуверенно и смотрел на витрины супермаркета так, будто бы видел их впервые.

Я мельком глянула на него и собиралась было пройти мимо, но мужчина остановился.

— Здравствуйте, — сказал он.

— Здравствуйте, — машинально ответила я и тут же узнала его. Он жил в соседнем подъезде с женой и маленькой дочкой, но в последний раз мы встречались прошлой весной, и тогда он был гладко выбрит и улыбчив.

Борода и усы почти до неузнаваемости изменили его лицо, он стоял, чуть раскачивая пакет, и смотрел на меня сверху вниз так же, как минуту назад смотрел на витрину.

Нужно было, наверное, что-то сказать, и я спросила:

— Вы вернулись? — и тут же мысленно выругала себя — ну что за глупый вопрос.

— Вернулся. На неделю, — ответил он и опять качнул пакетом. — Сейчас зайду в магазин и домой.

— Хорошо, — сказала я, и мне стало стыдно — ну что же я, ничего нормального человеку не могу сказать?

— Да, — ответил он, — это хорошо. Так я пошёл. До свидания.

— До свидания, — сказала я, и он стал подниматься по ступенькам магазинного крыльца.

Мне тоже нужно было в магазин, но я представила, как мы будем бродить между стеллажами с крупами, шампунями и конфетами, и делать вид, что ведём себя как обычно, буднично и просто, а потом ещё встанем рядом на кассе, — и прошла мимо, а потом всё шла, шла, спрятав руки в карманы и не обращая внимание на птичье треньканье телефона.

— Господи... — в голове будто бы перекачивалось что-то тугое и тяжелое. — Господи, ну как же так? Что — вот именно так нужно? Как это всё может быть на одной крошечной планете — и одновременно? Как мы живём и умещаем всё это внутри? Не разрываемся от горя, ждём никому не нужного смирения, что-то покупаем и что-то едим, а потом о чём-то рассуждаем, или ещё того хуже, с кем-то ссоримся, делаем такие важные, упрямые лица, и знаем, знаем при этом, что кто-то может никогда больше не увидеть весны!

У пустыря за супермаркетом я свернула на мокрую земляную тропинку — узкую и скользкую. Прошлогонья трава осталась зелёной — так бывает только на юге, но высокие сухие былинки, коричневые, покорные, мёртво пошатывались на ветру. На мягкой земле виднелись чёткие отпечатки ребристых подошв и собачьих лап, валялись обёртки от шоколадок и пустые пивные бутылки. Через пару метров тропинка раздваивалась: если пойти влево, то попадёшь на автомойку, а вправо — выйдешь к гаражам и ржавой трансформаторной будке. На усеянной окурками развилке я остановилась, вытерла мокрое лицо и посмотрела в телефонный экран.

Одно голосовое от мамы, пять — от бывших одноклассников, и три — от Елены Николаевны. Слушать их я не стала и отправила во все чаты один и тот же смайл — красное, пульсирующее сердце.

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ВЕЩИ И ЗАБЫТЫЕ ПРЕДМЕТЫ

— А смерти, моя деточка, мы можем противопоставить только рождение... — Вероника покрутила карандаш и вывела что-то в клетках кроссворда. — Северный ветер это ведь «норд», правильно?

Я ничего не ответила и отвернулась к стене, стараясь собственными мыслями заглушить её глуховатый, будто бы выцветший голос. Мальчик, мальчик, у меня непременно будет мальчик. И я назову его...

— Ни-ко-лай. Так же звали поэта Гумилёва? Не помню уж, чего он там писал. В школе вроде читала, а всё позабыла.

Мне трудно представить Веронику школьницей. Кажется, она сразу родилась вот такой — с крашеными хной волосами, в тяжёлых, оттягивающих тонкую мочку золотых серьгах. Даже сейчас она умудряется пудрить лицо — зачем, для кого? — а глядя в зеркало складывает губы бантом.

Мне не нравится Вероника. Но я очень люблю её за то, что она здесь, со мной, и я могу раздражаться от шелеста газет, запаха растворимого кофе и внезапных глубокомысленных фраз о смерти, рождении и прочих не имеющих сейчас никакого значения вещах.

Нет пока никакого рождения — оно будет, но не скоро. А уж смерти и давно — никак не может быть.

Я отворачиваюсь от стены, гляжу на Веронику почти нежно и думаю о том, что никогда бы не назвала своего мальчика Николаем. Острое, большое имя, полное горького и неловкого смирения. Разве можно так называть детей? Им вообще не идут взрослые имена, и лучше было бы, если бы младенцев никак не звали, или подбирали бы для них какое-нибудь невесомое, не людское, а речное или лесное слово. Что-то о шелесте листьев над водой или сол-

нечных брызгах вперемешку с легкой тенью. Я представляю, как зову своего мальчика шелестом или солнцем, и закрываю глаза, чувствуя перед самым погружением в сон, что Вероника укрывает меня одеялом.

Электричество отключилось вчера, рано утром. Ежедневный бытовой фон — гудения холодильника и электрокотла, шелчков батарей отопления — оборвался так резко, что тишина тут же стала давить на уши и будто бы распирает меня изнутри. Лишившись привычной, пусть негромкой, но постоянной звуковой оболочки, я стала слышать, как высоко, за плотным облачным слоем гудят невидимые самолёты, и где-то далеко-далеко, за лесом иногда раздаётся треск — резкий и короткий, а за ним грохот — долгий и перекастистый.

Вероника прислушивалась к гудению и треску, замирала, потешно прикладывая руку к уху, а потом бормотала нарочно отчётливо, чтобы я услышала, что-то про сухие ветки, ветер, идущую в нашу сторону грозу.

Завтракали печеньем и морсом — светло-жёлтой сладковатой водицей, разведённой из Вероникиных запасов облепихового варенья.

— В облепихе витаминов — тьма! — твердила Вероника, с усилием колотя ложкой в стакане. Оранжевая, плотная, ещё в прошлом году протёртая сквозь сито и уваренная с сахаром масса упрямилась и растворяться не хотела — глотая морс, я чувствовала сладкие крупинки на языке, а потом представляла, как те самые витамины текут по моей крови напрямик к самой середине тела, туда, где гнездится крохотный плод.

Ближе к обеду Вероника выволокла из кладовки во двор маленькую, на одну конфорку, походную газовую плитку, и круглый, похожий на пузатую кастрюлю газовый баллон.

— Боюсь я этих газовых дел — страсть! Но без жидкого тебе никак нельзя... — причитала она, роясь в кухонном шкафчике. — Да где эта штуковина... — и, вооружившись

зажигалкой, банкой тушёнки и горсткой крупно нарезанных овощей, отправилась на улицу варить суп.

Я закрывала глаза и пыталась представить, как тоже выхожу вслед за ней во двор — ведь и не рассмотрела его толком. Усесться бы на крыльце, вытянуть ноги и подставить всё тело солнцу. Поглядеть, что там у Вероники в саду. Понюхать и пощупать новенькие зелёные листья. Познакомиться с её псом и кошками. Если бы они были моими животными, то спали бы со мной рядом — собака на полу, а кошка — на постели.

Когда Вероника появилась возле меня с глубокой суповой тарелкой, я, смущаясь и глотая слёзы, попросила её принести мне пару зелёных листков с любого дерева, и, если можно, привести хоть на минуту собаку или кошку.

Отвязывать и вести в дом пса Вероника наотрез отказалась, а кошку — рыжую, косоухую — принесла, но погладить мне не дала и показала лишь издали. Кошка уставилась на меня круглыми жёлтыми глазами — больше совиными, чем кошачьими, и махнула ободранном хвостом.

— Поглядела? — спросила Вероника, — ну и хватит. А то мало ли какой дряни с неё насыплется. Хочешь, потом ещё белую покажу, если изловлю. Она вечно шляется где-то, не отыскать!

Она выкинула кошку за дверь и вымыла руки. А потом достала из карманов куртки и высыпала на одеяло рядом со мной ворох мелких, ослепительно-свежих листьев и пучок узких травинок.

— Мало ещёросло, рано. Вот через месяц сад не узнаешь! Ещё и зацветёт всё! Да не реви ты, чего это вздумала. Понюхай лучше, как зеленью пахнет — сразу плакать расхочется. И ешь суп-то, пока горячий...

Вероника, хоть и строила из себя женщину хватистую, деревенскую, на деле была городская, от серьёзных садовых и огородных дел далёкая. Этот дом — одноэтажный аккуратный коттедж в крохотном дачном посёлке всего на десять участков — купила она несколько лет назад, когда жив был её муж, и сын собирался жениться.

— Я, деточка, родилась-то в деревне — далёко отсюда,

за Уралом. Мать с отцом всю жизнь носом в землю. А я отучилась, в райцентр уехала, а потом уж в Москву. Там и замуж, и работала — до самой пенсии. А потом сюда, поближе к теплу, всей семьёй решили рвануть, мы, значит, с мужем, ну и сын со своей. Квартиру в городе взяли, и домик вот этот, чтоб на воздухе да со своими овощами-фруктами... А Мишка-то мой возьми да умри. И сын развёлся, даже внуков родить мне не успел, и обратно в Москву подался. Осталась я одна совсем. Сюда как на дачу приезжала, уж и не растила ничего, одни цветы да укропчику там, петрушки. Собаку завела, кошки прибились всякие. Но вообще как Мишки не стало, как-то посыпалось всё. Я тогда ещё подумала — беда в семью пришла, прилипла, и не отстанет теперь, будет расти и расти нам вместо овощей... Так и вышло.

Дурацкие слова про беду она повторяла почти каждый день, слушая радио, вздыхая и тыча указательным пальцем куда-то в окно. На имени мужа её голос дрожал, но она не плакала, а шла к зеркалу, пудрилась и кашляла.

— А как вам в Москве жилось? Нравилась она вам? — спрашивала я, пытаюсь представить её молодой и влюблённой в жениха — почему-то мне казалось, что он был невысокий, плотный и улыбчивый — вроде Гагарина.

Вероника пожимала плечами и недоумённо хмурилась.

— Москва как Москва. Чего в ней такого. Большая. Народу-у-у! Ну, красивая, конечно. Столица!

Я разочарованно закрывала глаза и снова злилась — можно ли быть такой скучной! Сама я была в Москве только один раз — очень давно, в раннем детстве. Мне было пять, а маме тридцать, и я ничего не запомнила из той поездки, кроме широкой, мокрой после дождя улицы с чёрным блестящим асфальтом и мелкими лужицами, полными золотых, серебряных и красных огней. «Смотри, смотри!» — говорила мне мама и кивала головой вверх, а я не могла оторвать взгляда от мокрого разноцветного сияния, идущего, как мне казалось, откуда-то из-под земли.

— Съездишь ещё... — утешала меня Вероника, по-своему истолковав моё молчание. — Какие твои годы. Вот ро-

дишь, подкормишь годик, да и поедете — хочешь в Москву, а захочешь — на море. Даст бог уж утихнет всё, и будет всё по-прежнему, по-хорошему. Нельзя же шуметь вечно, нужно людям и отдых дать.

Ужинали бутербродами с колбасой и огурцами.

Засыпала я плохо. Батареи совсем остыли, в комнате стало сыро и холодно. От долгой неподвижности — я почти не вставала с этой кровати уже четыре дня — руки и ноги онемели и потеряли гибкость. Внизу живота тянуло — еле-еле, но ощутимо, будто кто-то невидимый натягивал тонкие, с волосок, струны и проверял их на прочность, а мне приходилось удерживать их всем телом, всеми мыслями. От напряжения я устала и провалилась в сон, больше похожий на обморок, но несущий всё же облегчение и забытие.

— Тсс... — чей-то шёпот пробился сквозь плотную толщу сна, и я медленно, раздвигая головой тёмную воду и водоросли, выплыла в явь. — Тихо, милая, тихо-тихо...

Вероника, еле видная в темноте, стояла перед моей кроватью на коленях и гладила меня по плечу.

— Молчи... Не шевелись. Ходят там.

За окном слышались два мужских голоса — сначала неясно, издали, потом всё ближе и чётче.

— Сюда? Мож сюда, смотри, ничё так хата? — спрашивал один, шмыгая носом.

— Можно и сюда... — лениво растягивая слова, отвечал другой, и от его голоса мне стало страшно до паники, до крика. Словно почувствовав это, Вероника мягко, но плотно закрыла мне ладонью рот, и её рука пахла кокосовым мылом и луком. Мальчик, мальчик, у меня должен быть мальчик... — твердила я про себя и мелко дрожала всем телом, — и я назову его...

— Лёх, глянь, — первый голос будто приподнялся на цыпочки, — там собака походу. Слышь? Вылезла. Мож камнем её? Или пристрелишь?

Сквозь звон цепи, грохот заборных ворот и лай слыш-

но было, как матерился первый. Напрыгавшись и налаявшись до хрипоты, Вероникин пёс принялся рычать — низко, долго и угрожающе.

— Уехали, а собаку бросили. Вот уроды, — протянул второй. — Не, возни много. Пошли.

Тихо переговариваясь, они двинулись вверх по улице — к большому двухэтажному коттеджу, последнему в ряду дачных домов.

Вероника осторожно отняла ладонь от моего лица и забралась на кровать.

— Подвинься-ка. Я с тобой побуду. Укройся, простудишься ещё. Дом-то совсем остыл, — шептала она, набрасывая на меня одеяло и обнимая за плечи. — Ну не тряпись, не тряпись. Спи.

— Послушайте, ну что вы хотели. Тридцать восемь лет. Три выкидыша. Вам бы прекратить эти попытки, вы совершенно измучили свой организм. — Врач говорила сухо и строго, и её голос, слабый запах сладких духов, болезненно-яркий свет над моей головой и память о тонкой, как лезвие, тянущей вниз боли — всё казалось мне одним невыносимым цветом, звуком и запахом.

— Я всё-таки буду пробовать ещё, — сказала я. — Вот как вы советовали мне ещё давно, помните? Расслаблюсь и забуду обо всём на свете, как будто я просто живу себе и никакого ребёнка мне не нужно. Вы только скажите, что мне делать, если вдруг получится? — спросила я и зажмурилась, чтобы не заплакать.

— Я вам это советовала пять лет назад. Тогда и вы были здоровее, и обстановка, знаете ли, благоприятствовала деторождению... — проворчала врач. — Что делать, что делать... Лежать и не шевелиться. И прямо с того места, в котором вы забеременеете — ко мне в клинику, причём не автомобилем, не автобусом и не поездом. А телепортом. Ну в крайнем случае — на скорой.

Пашка ждал меня в коридоре, и мне, как всегда, стало стыдно за то, что он должен таскаться со мной по больни-

цам и терпеть мои слёзы. Может быть, если бы он упрекал меня, или сказал бы, что не хочет больше ничего, или ругался бы, когда я реву, мне было бы легче и проще. Но он вообще не говорил ничего, и делал всё, о чём я его просила, покорно и равнодушно.

— Мне нужно отвлечься, понимаешь? Забыть, как будто всё хорошо и ничего не было, — улыбаясь, говорила я ему в машине и старалась не думать, как выгляжу со стороны — опухшая от слёз, лохматая, полусумасшедшая, твердящая одно и то же вот уже пятый год.

Я понимала, что Пашка очень устал от всего этого, но он ни разу не чувствовал такой острой, горячей боли, какую чувствовала я, и не представлял, как это — бояться своей собственной крови, и от этого мой стыд перед ним сменялся злостью, потому что даже если я накричу на него сейчас или выскочу из машины на ходу, он не изменит этого своего выражения лица — спокойного и пустого. Наверное, я уже не любила его. И он — наверняка — не любил меня. Но это не меняло ровным счётом ничего — ни для меня, ни для него, потому что мы продолжали ехать в этой чёртовой машине домой, где я умоюсь, причешусь и даже зачем-то накрашусь, пока он будет смотреть новости и качать головой, а через неделю поедем на дачу — сорок минут от города по трассе мимо чужих окон, среди чужих машин, такие чужие друг другу, а потом в дачный посёлок приедет жёлтый автобус с надписью «ДЕТИ», и человек с громкоговорителем пойдёт между домами, а я буду стоять в туалете с полоской теста в руках и не слышать ни криков, ни стука в дверь.

Очнувшись от полуобморока-полусна, я смотрела в светло-серый квадрат окна и не могла понять, отчего мне так хорошо. Потом сообразила — электричество вернулось, и в комнате стало тепло. Шумел холодильник, пощёлкивали батареи, бормотало за стенкой радио. Далёкий низкий гул невидимых самолётов отступил, таял и растворялся за лесом редкий грохот — и вправду похожий на гром.

Вероника, устроившись у зеркала, обмазывала голову остро пахнувшей зелёной жижей.

— Проснулась? — спросила она, услышав, как я зашевелилась. — Лежи пока, лежи. Сейчас я затылок домажу, и будем завтракать. Виданное ли дело, два сантиметра седины отросло. Ты, кстати, знаешь, что хна — она и для временных разрешается? Тебе рыженький пойдёт!

— Да как же... — заволновалась я, вспомнив ночных гостей, и даже засомневалась — были ли они? Может, это был сон?

— А эти... — Вероника поджала губы, — ушли. Я утром в окно видела — вылезли из Машкиного дома и вверх по дороге почесали. С мешками. Ну, если они у Машкиного мужа инструменты утащили, беда... Одна ж косилка была нормальная на всю улицу. Вот гады! Ты как, сильно испугалась? Пригодился нам пёс-то! Я ему всю колбасу отдала — всё равно скоро бы испортилась.

Я кивнула, стараясь не вспоминать свою ночную дрожь, два голоса и Вероникин шёпот — тихо, милая, тихо... Не было всего этого. Приснилось. Не было ничего плохого и не будет. Вот приедет Пашка, как мы и договорились, со скорой помощью, заберёт меня отсюда и отвезёт в клинику, я лягу на прохладное белое постельное бельё, врач даст мне таблетки или поставит капельницу, и я приму всё что угодно, стерплю всё, что угодно, лишь бы...

— А твой-то, деточка, — перебила мои мысли Вероника, — третий день уж не едет. Я что, я хоть месяц тут просижу. Квартира моя в городе есть-пить не просит, запасов тут прилично — консервы, картошка ещё осталась, капуста квашеная... Но ты-то как? Я ещё вчера хотела тебе сказать, что дело нечисто, но ты уж больно кислая была. И эти ещё... Вдруг вернуться или другие придут?

— Не говорите ерунды, — сердито ответила я. — Ну не бросит же он меня тут одну с ребёнком? И вас — знает же, что вы со мной остались. Ну, если хотите, езжайте сами в город, до электрички вон двадцать минут пешком. А я тут подожду.

Я злилась на Веронику, и представляла, как наору на

Пашку, когда он наконец-то объявится — за то, что ехал так долго, за то, что мне было так страшно и даже за то, что сотовая связь в посёлке пропала начисто. А потом вспомнила его спокойное пустое лицо за ветровым стеклом, и как он терпеливо ждал, пока вырулит перед ним на дорогу жёлтый автобус с дачниками, их собаками и кошками, как пропустил машины тех, кто уезжал сам, и ни разу не посмотрел в мою сторону, а я стояла на крыльце, держась за Веронику — всего третий раз виданную нами соседку по даче, и всё ждала, чтобы он обернулся и хотя бы улыбнулся мне напоследок.

— Спасибо вам, что остались со мной, — сказала я. — Вы простите, что так получилось. Но, наверное, он и вправду не придет.

Я заплакала, чувствуя, как бегут по щекам тёплые слёзы — привычными, будто бы проторёнными дорожками. Наверное, если люди плачут так много, как я, то на коже в конце концов остаются борозды, как на земле после сильного дождя.

— И опять реветь. — Вероника натянула на волосы пакет и обмотала голову полотенцем. — Ну как бы я тебя бросила? Гляжу — мужичонка-то юлит. А ты, сразу видно, хорошая. Не повезло тебе, это бывает. В первородках под сорок лет нелегко ходить. Ну, даст бог, всё уладится, даст бог.

А я всё плакала и плакала, и борозды на моих щеках становились марианскими впадинами и марсианскими каналами. Я чувствовала, что весь мир — целый огромный мир — предал меня и оставил одну. Не было мне ни спасения, ни помощи, все храбрые сильные мужчины смотрели новости, укоризненно качали головами или ехали в своих машинах с такими лицами, будто бы всё на свете им известно и понятно. Что я могла сказать им? Чем поразить? Двухнедельным эмбрионом, цепляющимся за призрачную возможность жизни тончайшими, невидимыми глазу нитями? Пожилой женщиной с зелёной жижей на голове? Или псом, готовым умереть за неё без всякого промедления и сомнений?

Вероника собрала перепачканные миски, ушла на кухню, выключила радио и включила чайник. Травяной, острый запах хны смешался с запахом кофе, лилась в раковину вода, звенела посуда. Утренние серые сумерки ушли, и комната медленно наполнялась светом.

Мальчик, мальчик, у меня обязательно будет мальчик. Я назову его плеском, шелестом или солнцем, или холодной речной водой, а когда он вырастет, то сам придумает себе взрослое имя, сядет в большой самолёт, полетит над лесом, над морем, над пустынями и горами, ничего не будет бояться и никого не обидит. А когда будет пролетать над нашим домом, то не станет прятаться в облаках — спустится к самой крыше, сделает круг и покачает белыми крыльями на прощание.

ЦУМ БАЙШПИЛЬ

И тогда я спрошу:

— Как быстро и горько пролетает жизнь, правда?

А он ответит, что нельзя так говорить — пролетает быстро и горько. Лететь, скажет, можно быстро или медленно, низко или высоко. А пролетать горько — никак нельзя.

Потом подумает немного. Помолчит. И согласится — да, жизнь летит так быстро и так горько, что ничего не успеваешь толком сообразить, а уж исправить тем более.

Ну а потом я проснусь. Сон уйдёт, несбывшиеся разговоры забудутся, и останется только жизнь — вся её скорость и горечь.

А ведь ещё неделю назад мы смогли бы поговорить по-настоящему. Но не складывалось — то место неподходящее, то время. И Сонечка постоянно крутилась рядом: она не видела папу несколько месяцев и теперь никак не могла на него насмотреться.

Только один раз я не выдержала и выговорила по полной — когда вечером, перед сном, Костя предложил дочери рассказать её привычную заячью сказку по-немецки.

И зайца, и его сказку вообще-то придумала я: два года назад, когда Соня плохо засыпала, я сочиняла для неё бесконечные сонные истории о зайце, который так любил спать, что мог уснуть где угодно. Заяц спал в поезде, автобусе и самолёте, под кустами и в чистом поле, в волчьем логове и лисьей норе — всюду ему было хорошо и уютно, и всюду он пел сам для себя специальную сонную песенку.

— Спи-поспи, спи-поспи... — повторяла за мной Сонечка и закрывала глаза, а мы на цыпочках уходили на кухню — от того, что нельзя было шуметь и громко говорить, нам было ужасно смешно, и мы давились смехом,

шёпотом и поздним ужином из недоеденной Сониной каши и печений...

— Сонетка! — так Костя выдумал называть дочь, — а хочешь, твой заяц поедет спать в другую страну?

Соня с восторгом согласилась и хохотала до слёз от странной немецкой речи, будто бы против всех языковых правил составленной из шипов, углов, перемычек и неведомых геометрических фигур. Нахохотавшись, она устала и быстро уснула, заявив перед этим, что теперь согласна слушать про зайца только так — по-немецки.

— Слушай, ты что творишь? — зашептала я, утачив Костю на кухню — мы давно уж не смеялись там по вечерам, и вообще теперь передвигались по квартире осторожно, стараясь не задеть друг друга. — Ты нормальный вообще?

— А что такое? — удивился он, и видно было — вправду не понимает, в чём дело.

— Ты уезжаешь завтра, и непонятно когда вернёшься! — я уже не шептала, а шипела в ярости. — Что я потом буду делать с твоими немецкими сказками, а?

— Да я тебе шпаргалку оставлю, — засмеялся Костя, но замолчал, увидев моё лицо.

— Помнишь, я тебе рассказывала, что мои родители развелись, когда я была совсем маленькой, — сказала я, чуть успокоившись. — Отец ушёл, и мы жили с мамой вдвоём. Но однажды он приехал — что-то ему нужно было в нашем городе, остановился у нас и прожил с нами три или четыре дня. Сколько мне было... Да вот как Соньке, лет шесть. Я спала на кушетке, а они с мамой — на раскладном диване, вместе, это я помню точно. И каждое утро я вставала раньше всех, брала свой обруч — помнишь, были такие пластмассовые, для гимнастики? — стояла у дивана и ждала, пока отец проснётся. Как только он просыпался, я тут же начинала крутить этот обруч вокруг себя — понимаешь, мне очень хотелось показать, как я ловко умею, чтобы ему понравиться. Это мне теперь кажется таким ужасным, и я бы всё отдала, чтобы вернуться туда и спать себе спокойно на своей кушетке, или возиться с конструктором, или рисовать.

— Почему? — спросил Костя, и я вздохнула — опять не понял. Да и как объяснишь, как расскажешь, что отец просыпался, сел, тёр глаза, свешивал мохнатые ноги с дивана и смотрел на меня с вежливой улыбкой — так смотрят на чужих детей в магазине или парке, когда они мешают пройти к прилавку или занимают удобную скамейку в тени. А я всё крутила этот чёртов обруч, он падал на ковёр, я его поднимала и раскручивала снова и снова, и мне кажется, что я до сих пор его кручу, роняю, поднимаю и никак не могу остановиться.

— Прости, но я ничего не понял, — прошептал Костя и включил чайник. — При чём тут сказка и какой-то обруч. Если хочешь, я ей завтра скажу, что зайцу в Германии не понравилось, и он вернулся домой. Довольна?

Я ничего не ответила и ушла к Соне. Ходила туда-сюда у кровати, убирала разбросанные игрушки, разглядывала её спящую, а ночник рисовал на потолке световой кружок — даже ему, этому глупому бледному пятну ясно было, что никакой заяц домой уже не вернётся, и что не было у него толком никакого дома, а обруч так и вертится вокруг меня, плотнее и плотнее сжимая своё пластмассовое кольцо.

Ночью мне снилась тёмная вода — прохладная, озёрная — я знала это наверняка по её цвету и особой, мелкодрожащей ряби. За водой виднелся пустой берег с низкой травой и мелкими белыми цветками, и это сочетание влажной прохлады, зелени и сумеречного неба показалось мне таким спокойным и убаюкивающим, что я — даже во сне — закрывала глаза. Потом я очутилась в комнатах чужого дома — небольших и полутёмных, оклеенных разноцветными обоями — и пёстрыми, и в полоску, и в замысловатые узоры. Я трогала шершавую обойную бумагу, завидовала неведомым хозяевам и всё размышляла, как бы мы могли здесь хорошо устроиться: я вот в этой голубой комнате, Костя — в зелёной, а Сонечка в самой светлой — белой, в жёлто-розовую крапинку.

— Папа, а скажи ещё что-нибудь по-немецки, — попросила Соня за завтраком.

— Например? — откликнулся Костя, стараясь не смотреть в мою сторону. — О, например — хорошее слово! Например по-немецки — цум байшпиль, — ответил он, ожидая таких же, как вчера, ликования и смеха.

Но Сонечка за ночь остыла к немецкому и только пожала плечами.

— Не понятно ж ничего. И как они разговаривают там, в своей Германии?

— В Германии, — поправил Костя. — А вот я как раз туда поеду, всё разузнаю и вернусь за тобой. Договорились, Сонетка?

— А мама? — испугалась Соня и уронила печенье на пол. — Маму же мы тоже туда возьмём? А дедушку?

— И маму, и дедушку. И дядю Сашу. Мы уедем далеко-далеко и будем жить там очень хорошо и весело. Заведём щенка и кур. Хочешь?

Он обнял Соню, посадил к себе на колени и говорил что-то ещё, но я не стала его слушать.

Костя метался между комнатой, ванной и коридором, упаковывая последние мелочи — зубную щётку, бритву, какие-то пробники кремов и шампуней, блокноты, зажигалки и ключи.

Я сидела на табуретке и никак не могла сказать что-нибудь важное или хотя бы подумать о чём-то серьёзном. Может быть, если бы мы прощались на вокзале или в аэропорту, я бы тревожилась о разлуке и неведомом, как озёрная вода, будущем. А здесь, в тёплой темноте коридора, мне думалось только о пыльных Сониных ботинках, скисшем молоке и будущей стирке — ещё несколько минут, и я закрою за Костей дверь, сниму постельное бельё с дивана, положу простыню, пододеяльник и наволочку в стиральную машинку, и она загудит, завертит свою полосатую добычу в пене и плеске. Наверное, какое-то время я ещё буду рифмовать Костю с нами — вот мы печём оладьи, а он сидит в кресле самолёта, вот мы рисуем лягушку, а он приземлился в Берлине — но быстро устану от этих

несоразмерностей и вспоминать о нём перестану. А потом, может быть, через пару недель, когда Соня достанет меня вопросами, я ему позвоню. И он будет быстро-быстро, задыхаясь на ходу, рассказывать мне о том, как был страшно занят, но что вроде бы — тьфу-тьфу-тьфу — всё удачно складывается, что он скоро пришлёт Соне подарки и вообще всё-всё для всех нас устроит хорошо, а сейчас ему нужно бежать — он опаздывает на встречу и позвонит вечером.

И, может быть, лет через тридцать, когда всё это — топливые сборы, беспомощно завернувшийся край ковра, путающиеся под ногами пустые пакеты, Сонин рёв, хлопающие от сквозняка окна и внезапная тишина у закрывшейся двери — забудется насовсем — я найду его где-нибудь там, далеко-далеко, и спрошу про скорость и горечь прошедшей, но такой прекрасной жизни, и ещё про что-то большое, живое, о чём мы всегда хотели, но так и не смогли поговорить.

АТЕЛЬЕ «ЗИМА»

Снег пошёл ночью — густой, но лёгкий, будто бы не настоящий. Усердно засыпая газоны, справиться с потоком утренних прохожих он не сумел, и ярко чернел теперь мокрый асфальт тротуаров между пышных, не тронутых таянием снежных полотен.

По чёрному, блестящему Ане шагало легко и весело. Вдыхая влажную холодную чистоту и выдыхая облачка тёплого почти невидимого пара, она любовалась крупными хлопьями, похожими на обрывки бумажных салфеток, и даже улыбалась от удовольствия. Утренние прохожие Аниной радости не разделяли, сердились и спешили; только мелкий лохматый пёс прыгал в снегу то ли по-беличьему, то ли по-лисьему, вылавливая невидимую никому добычу, весело взлаивая и не обращая никакого внимания на жалобный хозяйкин зов.

Аня представила, как мокрый пёс возвратится домой, будет умыт, обсушен и накормлен, и уснёт крепко где-нибудь на диване — и тут же захотела стать хотя бы на минутку и этим псом, и его укутанной в пухлую куртку хозяйкой, и мокрым асфальтом, и даже деревом, аккуратно упрятым каждой своей веткой в снежный чехол. И ей показалось, что все люди вокруг — пусть хмурые, сонные — были снегом украшены и очищены, и будто бы прощены.

— Аня! — мужчина в чёрном пальто остановился перед ней внезапно и близко, заслонив собой и блеск асфальта, и трепет снежных хлопьев, — Анька...

Счастливым свойством своей памяти Аня всегда считала лёгкость, с которой не забывалось, но изменялось в её сознании всё, давно случившееся. С недоумением вспомнилась ей девочка, шедшая когда-то по такой же свежеснеженной улице к трамвайной остановке. Вспомнилось всё, бывшее тогда вокруг: и красные трамвайные

бока, и птичья драка над горстью семечек, и тётка, торгующая сигаретами поштучно — сизолицая, пьяненькая. Вспомнился и прежний спутник — пальто на нём тогда было светлое, слишком тонкое для ноября, но он не мёрз, уверяя Аню, что может ходить и вовсе без верхней одежды в любой мороз. Аня там тоже была — да, если сосредоточиться, можно выглянуть из той девчонки, как из окошка пустой комнаты, и увидеть свои рукавицы, острые носки сапожек и тёмные, слегка вьющиеся прядки чёлки, мелькающие у глаз. Но мысли и чувства той девочки виделись теперь чужими — чёткими, ясными, но абсолютно отдельными, будто написанными в тетрадке чьей-то незнакомой старательной рукой.

«Я очень его любила, — прочитала внутри себя сегодняшняя Аня, — мне было двадцать, и я очень любила его. И мы куда-то ехали. Сначала на трамвае, потом на автобусе. И зима была ранняя, и очень снежная — вот как сейчас...».

Бестолковая суета — обнять, поцеловать, пожать руку? — и взаимные неловкие возгласы — как я соскучился, как ты, где же ты пропадаешь? — скоро сменились молчанием.

Они шли рядом, и Аня изредка поднимала на него глаза. Опуская взгляд, чувствовала, что он разглядывает её тоже. Сначала она смущалась и прятала подбородок в шарф, но после — с непонятным чувством торжества расправила плечи.

«Он же очень высокий — как я забыла... И всегда говорил мне, что когда мы идём рядом, он видит только мою макушку...».

Ане же снизу очень удобно было смотреть и сравнивать — тогда бороды он не носил, а теперь у него была борода, и какая-то странная, будто бы выцветшая.

«Да это же седина... — сообразила Аня и засмеялась от собственной недогадливости. — Двадцать лет прошло...».

— Почему ты смеёшься? — спросил он и, не дожидаясь ответа, предложил зайти к нему в офис — тут, совсем неподалёку.

Офисом оказалась маленькая комнатка — одна в ряду

плотно прижатых друг к другу пластиковых ларьков-магазинчиков со сладостями, детскими мелочишками и дешёвой косметикой.

— Заходи, — сказал он, впустил Аню внутрь и нашарил на стене выключатель. В комнатке пахло старым шкафом и сладкими духами; небрежно свернутые вещи заполняли узкие полки стеллажей, а в углу, на столе, под прикрытием клетчатого платка угадывалась швейная машинка.

— Ты съёшь что ли? — спросила Аня и смутилась — вопрос вышел грубоватым.

— Это жена, — ответил он, и добавил торопливо, будто бы Аня собиралась уйти, — её нет, она уехала на неделю. — А я так, помогаю иногда, заказы отдаю или ещё что тяжёлое нужно отнести.

Ане стало жарко, она расстегнула пуховик, развернула шарф и сняла шапку. Она чувствовала, что морозный румянец оставляет её лицо, и не улыбалась больше. Снежная свежесть, жившая в ней ещё пару минут назад, теплела, бледнела, таяла.

— Господи, Анька... — сказал он и прижал Аню к себе. — Иди сюда. — И потянул её в угол, в огороженную шторкой примерочную.

Снег шёл четыре дня. К вечеру слабел, превращался в свете фонарей в мелкие чёрные точки, потом возвращался с новой силой, а утром, в безветренном молчании, падал ровно, редко и светло. Не было уже чёрных, блестящих тропинок на асфальте, но спрессованная снежная корка ещё не упрятала тротуары в непобедимую броню и толком не холодило даже ночью.

Прежней жизни тоже не было. Прежнюю жизнь эти четыре дня отменили — и снегом, и новой, но будто бы ещё не наступившей по-настоящему зимой. И новая жизнь тоже никак не наступала, оставив Аню где-то в неопределённой пустоте, ничего не объясняющей и не обещавшей. Аню уже не радовала собственная отрешённая

беспамятность — а вдруг, думала она, было что-то важное в тех долгих поездках по городу и пригороду, в той бесконечной толчее и тряске, когда она упиралась виском в его пальто и смотрела в окно. О чём ей тогда думалось? Чего хотелось? И вообще — куда они всё время ехали и почему так внезапно расстались?

Выпутываясь из цветастой шторки, закрывающей примерочную, Аня слушала своё бьющееся, но уже успокаивающееся сердце и снова спрашивала:

— Ты так и не вспомнил, куда мы с тобой постоянно мотались?

Он качал головой — и Аня вдруг до одури пугалась сочетания его седеющей бороды и смуглых голых плеч. А потом в дверь ателье стучали, дёргали ручку, и она торопливо одевалась, хохоча и подпрыгивая на одной ноге в попытке натянуть колготки. Потом выходила на улицу, поднимала лицо, чтобы колючие снежинки хотя бы немного охладили её горячие щёки, и неслась на работу почти бегом.

— Жена возвращается в воскресенье, — сказал он на пятый день снегопада. — В субботу мастерская обычно не работает, но я всё равно приду. И ты приходи, сможешь? Дома не будет проблем?

О его жене Аня ни разу не задумывалась. Жена существовала где-то далеко, подразумеваясь, но не мешая, но теперь вдруг становилась неотменяемой — настоящим живым человеком, с которым придётся как-то считаться. Ане очень хотелось думать про неё плохо, но не получалось — мешали сочувствие и дурацкая беспомощность, от которых всё становилось маленьким и жалким, и хотелось разозлиться, но никак не выходило, потому что злиться было не на кого. Что-то тяжёлое, неловкое разрушало хрупкую временную снежность и требовало каких-то действий и слов, требовало каких-то объяснений. Нельзя же будет, в конце концов, сделать вид, что ничего не было, жить дальше эту зиму и ждать далёкую, невозможную весну. На его простые вопросы: «сможешь?», «не будет проблем?» можно было ответить: «не смогу», «будут» или

«приду», «мне всё равно». Но тяжёлое и неловкое всё равно не исчезнет, этих простых ответов будет недостаточно, и придётся думать и отвечать ещё.

— Я не знаю, — сказала Аня. — Подожди. Нет, не надо. Я опаздываю.

Выходя, она оглянулась — вроде ничего не забыла. Высокий мужчина у швейной машинки показался ей незнакомым, и даже странно было подумать, что вчера она хотела рядом с ним — босая, но в свитере. Ещё дальше отодвинулась от Ани двадцатилетняя девчонка в остроносых сапожках. Были же трамваи... Птицы... Были — но будто не с ней.

* * *

В субботу объёмные, набитые снегом тучи ушли на юг, и небо сделалось пустым и бледным. Город покрылся серой морозной дымкой — верной приметой настоящей зимы; за городом, в мёртвых районах недостроенных многоэтажек, эта дымка сгушалась в плотный, медленно движущийся туман.

«Мы ехали и ехали... — вспоминала Аня, проснувшись, но не открывая глаз, — а сначала долго ждали автобус на остановке. Быстро темнело, не наши автобусы проезжали мимо, в них горел жёлтый свет, и от этого казалось, что внутри будет тепло, как дома. Но внутри никогда тепло не было, и ноги у меня постоянно мёрзли — постой-ка сначала на снегу, а потом на ледяном автобусном полу. Была какая-то общага за сосновым лесом, у горы... Промёрзший дачный домик... И ещё квартира в пригороде, почему-то свободная только на выходных. На втором этаже, в старой пятиэтажке. А внизу — ателье... Оно ещё как-то называлось...», — и Аня вдруг вспомнила, что ателье называлось «Зима», и его высокую стеклянную витрину украшали две толстошкурные каракулевые шубы, серые от моли и пыли. Над шубами висели лохматые шапки, и в сумерках казалось, что за стеклом неподвижно стоят два человека без рук, ног и лиц.

Она вздрогнула от этого резкого, как удар, толчка па-

мяти, и странного соответствия висевшей когда-то над витриной металлической вывески всему, что происходило с ней сейчас — соответствия то ли насмешливого, то ли сочувственного; и полудрёма окончательно оставила её — нужно было спешить. «Не будет ли дома проблем, — спрашивал он. — Да какие могут быть проблемы в пустом, совершенно пустом доме...». Через пятнадцать минут Аня уже бежала по отвердевшему снегу, оскальзываясь, чертыхаясь и удерживая себя от падения широкими резкими взмахами рук.

Комнатушка швейной мастерской была закрыта. Аня повернула ручку раз, другой, постучала, собралась было и покричать, но осеклась под любопытным взглядом женщины из кондитерской напротив.

Он догнал Аню за углом, и ей стало стыдно оттого, что он — такой высокий, с бородой — сначала прятался как маленький, потом бежал за ней, а теперь держит под локоть как ни в чём не бывало, но ничего, кроме этой короткой поддержки, ни в прежнюю, ни в новую Анину жизнь принести уже не сможет.

Они свернули в переулок — на серый, присыпанный песком лёд, и пошли медленней, ещё держась друг за друга. Аня перебирала подходящие для прощания слова — спасибо? я люблю тебя? я тебя любила? — и чувствовала, как её прозрачная стремительная беспамятность замедляется и становится тёплой, светлой, почти белой — не снежного, но молочного цвета. Всё, наконец, становилось Аниным — и давние встречи, и нынешний ноябрь, и она сама, наконец, становилась своей, нужной и полноправной.

«Вот и приехали, — думала Аня. — Вот и хорошо».

Девочка с кудрявой чёлкой выглянула из неё, как из окна, огляделась и осталась — вместе со всеми своими страхами, любовью и новой, как зима, надеждой на лучшее.

ВЕНЕГРУТ И ВОКОБАН

...И ведь каждый февраль кажется — нет, не выйдет, не в этот раз. Не пропустят, не разрешат. А ход всё у?же, всё ниже — с лёгкостью пронесётся сквозь него дети или собаки, или те счастливики, что вообще не замечают смены времён года — всё-то им радостно, всё-то светло — и снег в лицо, и ледяной ветер. И неправда, что я отказываю им в душевной тонкости — проявляю эдакий погодный снобизм: ишь, простодушные, резвятся, пока я страдаю; но нет в моих мучениях ничего возвышенного, а только низкий тёмный ужас — неужели и вправду в этот раз не получится, неужели не пройду?...

Так думал мужчина, медленно идущий по широкой, устланной обветренным гранитом набережной. Звали мужчину Иваном, фамилию он носил звучную — Громов, и переживал он напрасно — март уже распахнул все возможные двери и порывистым, шумным ветром, свободно пролетавшим сквозь пустые ветви деревьев, подталкивал редких прохожих в спины: ну же, ну, ещё шажок!

Громов глянул на укреплённый у запястья браслет шагомера. Две тысячи. Ещё две — и можно поворачивать домой...

* * *

Температуру полагалось сбивать лишь после тридцати восьми и пяти — и Громов послушно ждал, пока серебрястый столбик ртути преодолет положенные зарубки. Ближе к тридцати восьми Иваном овладевала сонливость, и он, перемигивая словно бы высохшими от жара глазами, разглядывал книжную полку, установленную ровно напротив кровати.

На первый взгляд книжные корешки сливались в одно неяркое полосатое полотно, но лёгкое напряжение зрения выделяло из коричневого и зелёного золотые буквы, упрямо не обретающие смысл.

— Во-ко-бан... — шептал Громов и тянул градусник из подмышки, — Ве-не-грут... — и снова пытался сфокусировать зрение на серебристой полоске и пройденных ею отметках — тридцать восемь и восемь. Пить аспирин и спать.

Расталкивая книги, спускались с полки и подходили к кровати два господина, еле видные в свете ночника. Глядели на Громова с укором — мол, что же это, температура-то детская, а так расквасился.

— Позвольте представиться... — говорил один, белобородый, и приподнимал над головой мягкую коричневую шляпу... — Венегрут.

Второй — почти лысый, низко усадивший очки на длинный нос — ничего не говорил, а только улыбался, и улыбка у него была неприятная.

— А это мой хороший друг, — вежливо продолжал человек в шляпе. — Господин Вокобан.

Громова обдавало жаром, и просыпался он весь в поту.

На пятый день температура упала, странные господа больше не появлялись, и с облегчением сложил Иван золотые буквы на корешках в ясные знакомые фамилии.

Болезнь отступила, оставив Ивану лишь слабость и внезапные сердцебиения, непривычные ему — высокому, крепко скроенному, о недугах раньше и не помышлявшему. Врач велел ни в коем случае не волноваться и гулять, но осторожно, без излишеств — и теперь каждое утро Громов проходил положенные километры вдоль холодно блестящего речного полотна — туда и обратно.

* * *

Вода смешивала солнце и ветер, срисовывала с неба быстрые облака, и Громов, останавливаясь у толстой гранитной ограды, чтобы отдышаться, вглядывался в глубину с отвращением — казалось ему, что лежат на речном дне вместе с мусором, камнями и битым стеклом чьи-то дурные, опасные секреты.

— Ве-не-грут и Во-ко-бан, — повторял он, пытаясь уловить в бессмысленных словечках явно слышимый, но никак не дающийся ему ритм, пожимал плечами и

спешил в ближний супермаркет за кошачьим кормом для Изюма.

Лёшкиного кота жена принесла в самый разгар Ивановой болезни, объяснив, что Лёшка тоже заболел, но кажется, слегка посерьёзнее, чем Громов, и за котом нужно присмотреть — на время, конечно. Изюм — старый, лохматый и молчаливый — отнёсся к смене дома со смирением. Походил по комнатам, с особенным вниманием вглядываясь в темноту под шкафами, а потом устроился в кресле. Там и спал, отзываясь лишь на шелест пакетиков с кормом; быстро покрыл велюровую обивку густым слоем серой шерсти, и Громов сквозь жар слышал, как ворчала на эту бесконечную линьку жена.

Между температурными атаками Громов собрался было позвонить Лёшке, но строгий голос в телефоне сообщил, что абонент сейчас недоступен. Ничего удивительного, успокаивала жена, — Лёшку-то пару дней как забрали в больницу. Иван отнёсся к этой новости с равнодушием, отчего-то почувствовав себя старым котом — какая, к чёрту, разница, лежишь ты на Лёшкином диване или на двуспальной кровати — если нет у тебя ничего, кроме полосок книжных корешков, странных снов и сухих щелчков таблеток, выскакивающих из своих фольгированных гнёзд.

* * *

— И что за идиотская мода — всё нараспашку, — ворчал про себя Громов, в очередной раз бредя привычным набережным путём и глядя на двух девчонок, обнимавших друг друга с радостным смехом. — Вчера, наверное, расстались, сегодня увиделись, и чего веселиться...

Девчонки, звонко расцеловавшись, двинулись навстречу Ивану, не размыкая рук, и мартовский ветер переплетал между собой их длинные шарфы и полы пальто. Громов хмуро разглядывал девчачьи лица, аккуратно покрытые косметикой, словно бы обработанные фотографическими фильтрами, и думал о жене — интересно, если бы её так накрасить, что бы вышло? И он представил жену, идущую

шую вот так вдоль реки в расстёгнутом пальто — без шапки или платка, чтобы волосы летали возле лица, но потом вспомнил, что у жены давно уже короткая стрижка, и от чего-то пожалел её почти до слёз.

Девчонки прошли мимо, не взглянув на Громова, и свернули влево — на широкую лестницу, ведущую от набережной к парку. Иван представил, как бежит за ними, окликает их, и что-то шутит про то, что они нараспашку, а он укутанный; и даже испугался от абсолютной невозможности никоим образом, ни самым краешком войти в их жизни. Чтобы справиться со страхом, стал думать о привычном — о том, как легонько позвякивают на худых руках жены её кольца — она зачем-то носила их по два на одном пальце; об Изюме, спящем в усеянном шерстью кресле, о Лёшке, лежащем сейчас где-то в больничной палате.

Ветер рванулся влево — вслед за девчонками, и вдруг, словно бы вспомнив о Гронове, вернулся, захватив с собой отголосок сладкого знакомого запаха.

* * *

Дачу сняли на две недели — дивную: лёгкую, светлую, будто бы кружевную. Громов тогда был женат совсем недавно — полгода как — но любовь его к жене была уже не жадная, свирепая к чужакам, а щедрая, полная, простая. Счастьем хотелось делиться, и присутствие рядом постоянного, но приятного человека — друга детства, а с недавних пор и коллеги — ощущалось не как досадная помеха, а как множитель, усилитель радости. Громов, бывший до встречи с женой немного толстокожим, но обученный горячей своей любовью чувствовать тоньше и глубже, быстро сообразил, что Лёшка влюбился в его жену — и, может быть, сам не осознаёт этого; оттого появилось в их недолгом отпуске что-то загадочное, трагичное, и в самой простой, привычной с детства загородной обстановке — выцветших кружевах занавесок, тряпичных ковриках, жарком полуденном солнце, падающем на крашеную фанеру пола, — дрожало пугливым зверьком то, о чём нельзя говорить вслух.

Иванова жена была тогда редкой красавицей, но ни описать, ни уловить эту красоту словами было нельзя. Юность светилась в её лице, и всё тело её будто бы летело вверх — от вздёрнутых уголков глаз и пышных светлых волос до острых локтей и коленок, всегда готовых к бегу, танцам и прыжкам.

И Лёшка — маленький, рыжий, тощий как двенадцатилетний мальчишка, шурился, ослеплённый, а Громов посмеивался, ревновать и не собираясь.

После недели оглушающей жары три дня шёл дождь — жена куталась в чужой цветастый платок и бледнела от холода. Иван пытался топить печку, ломая спички и чертыхаясь, а Лёшка, к прохладе нечувствительный, бродил босиком по заброшенному огороду, выискивая улиток и земляных червей, стаскивая их к мокрому крыльцу и безуспешно — к дикому хохоту Громова — выстраивая в ровные ряды невиданного дождевого войска.

Ушли и дожди. Жара не вернулась; кружевную дачу окутало нежное августовское тепло, и стыдливо розовела в заросших длиннейшими усами грядках мелкая клубника.

За день до отъезда затеяли костёр — и Лёшка, щурясь чуть больше, чем обычно, бросал в огонь карамельки, купленные в сельском магазинчике, но так никем и не съеденные. Пахло жжёным сахаром и бумагой; костёр залили двумя вёдрами воды, но запах впитался в волосы и одежду, летел вслед за ними по ветру и оставил их лишь в городе после основательного мытья и стирок.

* * *

— Слушай, я что придумал! Помнишь дачу? Ну, ту, что мы снимали вместе с Лёшкой? В тот год, когда поженились? Червяков он ещё таскал, конфеты жёг? Ну? Вот выздоровеет он, и давай снова поедим? У Лёшки наверняка телефон хозяев остался! Изюма возьмём — пусть гуляет. Ну, что ты молчишь, помнишь же?

Путаясь в шарфе, смеясь, освобождаясь от толстого пуховика, Громов говорил и говорил, проклиная между словами свою одышку, видя полные слёз глаза жены и её

распухший, покрасневший нос — она всегда так краснела от плача, и всё уже понимал и принимал, но не в силах был остановиться. Задыхаясь и всё ещё не умолкая, Иван впускал в себя отчаяние — долгое, тяжёлое, густое, — но никак не мог позволить уйти тому жжёному карамельному ветру, и сквозь настоящее и будущее горе точно знал, что горе это когда-нибудь кончится, а ветер уже никогда не утихнет.

БУДЬ МОИМ ДЕРЕВОМ

1

— Моя первая жена — хорошая была женщина, — Олег Петрович потянулся и зевнул, — но вот слишком уж... — Он защёлкал пальцами, подбирая слово. — Энергичная!

Собеседник его, пожилой мужчина в тёплом пальто, вопросительно поднял брови.

— Да-да, — закивал Олег Петрович, — слишком! Утром проснёшься — не соображаешь ничего, глаза открыть не можешь, а она уже всюю крутится. Гимнастика какая-то хитрая, потом варит чего-то, потом на прогулку несётся. Но это полбеда...

Олег Петрович задумался, вспоминая. Пожилой мужчина развернул было газету, надеясь на окончание разговора, но погрузиться в чтение не смог.

— Полбеда, понимаете? — остановил его Олег Петрович. — Женщина, и в особенности жена, должна умиротворять, правда? А она наоборот — раздражала. Музыку услышит — тут же танцует, встретит кого знакомого — кричит на всю улицу, обниматься лезет. Подаришь ей чего — машет около глаз, будто рыдать собралась и её вроде как жар разбирает.

Олег Петрович помахал ладонями перед лицом, изображая.

— Нет! Не уговаривайте даже! — Продолжил он, а пожилой мужчина обречённо сложил газетные листы вчетверо. — Я категорически против. И не спрашивайте, за чем женился! Не спрашивайте! Я и сам не знаю.

Мужчина поднялся со скамейки и слегка поклонился.

— Вам уже пора? — Олег Петрович глядел с искренним огорчением. — Такая погода! Воздух! Что ж... — крикнул он вслед уходящему, — увидимся как-нибудь ещё!

Первая жена Олега Петровича, слишком энергичная, но хорошая, сейчас не узнала бы своего бывшего мужа.

Они расстались больше пятнадцати лет назад — удивительно холодный и ветреный выдался тогда апрель. Олег Петрович, взяв пример с ветра, всё уходил куда-то из дому, и не сказать, чтобы к новым женщинам, а больше к друзьям. Но и женщины какие-то были, и музыку включали, а свет гасили, но всё это было так, по-апрельски несерьёзно. Олег Петрович, тогда худой, с чёлкой, в очках — курил на дружеской кухне, жаловался, неспешно пил чай — печень уже тогда шалила. Друг кивал, сочувствовал и очень хохотал, когда Олег Петрович показывал, как жена делает гимнастику.

Возвращаться домой было немножко стыдно. Жена энергично брала его за руку и спрашивала — что же не так? Потом ушла — на диво бесшумно. А Олег Петрович женился второй раз — на одной из каких-то мелькавших рядом женщин, но снова остался недоволен и браком, и женскими повадками. Если бы пожилой его собеседник не ушёл, Олег Петрович пожаловался бы и на вторую жену — как назло, она, в полную противоположность первой, оказалась медленной и молчаливой. Готовила фруктовые желе и холодцы — холодные, подрагивающие; каши — тягучие, слизистые; уважала сливочные ликёры и густые молочные коктейли.

В этом браке Олег Петрович растерял худобу и лишился чёлки — облысел как-то быстро и равномерно. Но был от второго супружества и плюс — вторая жена его трудилась доктором-окулистом, и помогла ему избавиться от натирающих переносицу очков — себе же на беду. Прозревший после операции Олег Петрович разглядел мелкие прыщики на её спине, стал глядеть ещё и нашёл всякого-неприятного: один зуб у жены был желтоватый, и пальцы на ногах слишком уж длинные... Развёлся быстро, очень переживал, и больше не женился.

— И не то чтобы не хочется... — говорил Олег Петрович друзьям, — но какая-то опаска уже присутствует, — и с лёгким презрением косился на дружеских жён: одна пухлая, другая красится глупо, а эта и вовсе оскорбительно не крашенная.

Олегу Петровичу не было ещё и пятидесяти — и расположился он в этом неопределённом возрасте с некоторой радостью: уже не нужно изображать юность, подтянутость, а до настоящей слабости и немощи ещё очень далеко. Всё было при нём: хорошая квартира, необременительная, невеликая, но всё ж начальственная должность, личная свобода. И чувствовал он себя удивительно покойно — знал, что живёт на своём месте и своей жизнью.

Отправляться на прогулку Олег Петрович сегодня не планировал. Но день нынче выдался очень уж приятный: пятница, и служба порадовала, а потом небольшой банкет случился — и подавали там чуть горьковатое красное вино, приведшее Олега Петровича в несвойственное ему романтическое настроение. Он забыл про печень, смотрел сквозь тонкое стекло бокала на весёлых сослуживцев и даже позволил себе раскованную шутку. После банкета весёлые сослуживцы разбегались врассыпную; кто-то в одиночестве, а кое-кто навстречу мужьям или жёнам с детьми, собаками, супермаркетовыми пакетами. Семейные стайки — кто со смехом, кто с упрёками, — рассаживались по автомобилям; одиночки двинулись к метро, и все махали Олегу Петровичу на прощание как-то особенно душевно. И он кивал, и улыбался в ответ, растроганно думая, что эти пять человек, пять его подчинённых, которых в обычные дни он нередко распекал и, по его выражению, ставил на место, — и есть его семья. Знал он, что к понедельнику эти мысли исчезнут, и от этого чувствовал себя ещё лучше: шурил глаза, представляя, как выглядит со стороны — солидный, умеющий владеть собою, но очень редко позволяющий себе маленькие человеческие слабости...

Он отправил в рабочий чат одобряющий смайлик, потом подумал и удалил сообщение. Прикрыл лысину шляпой, и собирался было вызвать такси, но винные пары всё не отпускали, кружили и увлекали вверх по улице — в городской парк, где зеленоватой дымкой кудрявилась свежая листва тополей.

Добравшись до центральной аллеи, Олег Петрович не-

много устал и решил присесть. Все скамейки были заняты, и он выбрал ту, на которой сидел приличного вида старичок с газетою. Но разговора не вышло, и теперь Олег Петрович остался один — оглядывался, понемногу теряя хмель и ёжась от вечерней прохлады, выползающей из-за деревьев.

Где-то за деревьями была река — Олег Петрович видел её краешек из окна своего кабинета, но уже совсем не помнил ни запаха, ни цвета её воды. Смутно помнилось ему, что первая жена любила бегать по набережной, и всё рассказывала ему какие-то глупости: что-то о том, как ивы полощут в быстром течении кончики своих серебристых кос, и что бег воды и перебор прибрежных камешков похож на тихую музыку.

Олегу Петровичу стало скучно. Хорошая публика — мамы с колясками, порядочно одетые дамы средних лет, чистенькая молодёжь — уже расходилась. Вместе с вечерним холодом со стороны реки двинул народ подозрительный, не подходящий гладко причесанной центральной аллее и норовящий войти в парк с чёрного его хода, и Олег Петрович решил своё внезапное приключение завершить. Пообещав сам себе непременно погулять здесь ещё — но днём, он встал и направился к выходу.

Он шёл, и всё оглядывался на оставленную им скамейку, и отчего-то жалел её — вот, сидел на ней приличный человек в костюме и плаще, а теперь расположится всякая дрянь... Удивляясь своей внезапной сентиментальности и не глядя вперёд, он вдруг налетел на что-то твёрдое и тёмное, охнул и упал на колени, слыша отчего-то звон и треск.

— Что такое... — пробормотал Олег Петрович, поднимаясь, — что за безобразия?

Перед ним, прямо на аккуратно уложенных плитках аллеи, сидела девушка, совсем молоденькая, лет семнадцати. Обхватив обеими руками лодыжку, она поскуливала тоненько, как щенок, но смотрела не на ногу, и не на Олега Петровича, а влево — на лежащую рядом и треснувшую с одного бока гитару.

Олег Петрович сообразил, откуда был слышен звон и треск, и устыдился.

«Такой был хороший день... — с сожалением подумал он и потёр ушибленное колено.

— Ну-ну... — сказал он девушке. — Тебе... Вам стоит быть повнимательней. Я, конечно, заплачу. Сколько стоит ваша... твоя гитара?

Олег Петрович путался в «ты» и «вы», и злился сам на себя, не зная, как вообще положено разговаривать с девушками таких лет? Была бы она красавица, можно было бы выбрать тон покровительственный, но шуточный — мол, знаю я все ваши штучки — так Олег Петрович обычно разговаривал с секретаршами. Но девушка была круглолицая, пухленькая, со странной причёской — три косы, а поперёк лба тесёмка с блестящими камешками.

— Э! Ты чё творишь? — со стороны оставленной Олегом Петровичем скамейки двинулся к нему, неприятно поводя плечами, высокий юноша с длинными, убранными в хвост волосами, в пыльных джинсах и черной футболке. Был он не один — за ним из быстро сгущающихся сумерек тянулись другие, глядевшие с угрозой и любопытством.

Олег Петрович растерялся. Снял зачем-то шляпу, откашлялся — но сказать ничего не смог.

— Нормально всё, ребята! — девушка поправила свою блестящую тесёмку и протянула Олегу Петровичу руку. — Помоги встать.

Он послушно потянул её вверх, поднял и гитару.

— Нормально всё, — повторила она, и пыльный юнец остановился. — Я споткнулась просто. Не мой сегодня день, Эдик. А это мой папа, кстати. Погулять со мной захотел.

— Папа? — недоумённо спросил пыльный и усмехнулся. — Ладно, Линка, как скажешь. Если что, позови.

Неприятный юноша удалился в сумерки, а Олег Петрович смог, наконец, заговорить.

— Папа? — спросил он у девушки, протягивая ей треснувшую гитару.

— А что не так? — ответила она и улыбнулась, — может, вернуть Эдика?

— Нет-нет, не стоит, — спохватился Олег Петрович и сообразил улыбнуться в ответ, — спасибо вам... тебе...

— Проводишь меня, ладно? А то мне идти больно. Я тут недалеко, через дорогу, — сказала девушка и, не дожидаясь ответа, взяла Олега Петровича под руку. — Ногу ещё полгода назад растянула, так теперь чуть что — сразу хромаю. Долго заживает. Были у тебя когда-нибудь растяжения? Гитару сам понеси, а я за тебя держаться буду.

Олег Петрович, справляясь с внезапным головокружением, прижал гитару к левому боку и повёл прихрамывающую девицу по центральной аллее к выходу из парка.

2

Отец снился Лине частенько, но она никогда не могла разглядеть его лица. И поговорить с ним никак не получалось — чаще всего в её снах отец лежал, раскинув руки в той особой расслабленной манере, какая доступна лишь человеку, лишившемуся сознания. Вокруг толпились врачи — перебирали прозрачные трубки, звенели металлом, шептались, поглядывая друг на друга поверх масок — но отца от Лины не заслоняли, и она видела, как неподвижно и плоско лежит зелёная ткань больничной рубахи на его груди.

Лина просыпалась в недоумении, листала сонники — по всему выходила ей тоска-печаль, а ещё неприятные разговоры и ссоры. Она вставала, шла на кухню и шаркала ногами, и самой было неприятно от этого старческого шарканья и слабости. Мысленно надавав себе тумачков и окончательно проснувшись, Лина заваривала чай, грызла печенье и вспоминала, что мама рассказывала об отце и прежней их жизни.

Со временем рассказы эти Лине так хорошо запомнились, что казались собственными воспоминаниями: будто бы сама видела она сухой южный городок, душную съемную комнатку с двумя кроватями и тумбочкой меж ними, и каждое утро провожала отца с мамой на работу, сидя на табуретке и болтая ногами. Но на самом деле до Линоного рождения оставалось ещё два года, и мама была ещё худая,

с короткой стрижкой, а папа всё радовался, как удачно они устроились и что работёнка у них не бей лежачего.

По утрам, прихватив бутербродов, они садились в автобус и отправлялись за город, в свежестроенный коттеджный посёлок. Было здесь когда-то озерцо с камышами, но его осушили, оставив лишь болотце; по вечерам из болотной жижи поднимались тучи мелких, злобных и неуловимых кровопийц, и, словно в отместку, медленно, но верно, оседал в зелёную лужицу отведённый под сады-огороды грунт.

Забор в конце участков из-за оседающей земли поставить не удалось, и умница-застройщик радовался, что раньше догадался не спиливать растущие по берегам озерца ивы. Серебристые пряди, почти касавшиеся земли, давали лёгкую кружевную тень, шелестели на ветру, скрывая то, что нужно было скрыть; и сами домишки, выстроенные по модным лекалам, гляделись легко и задорно: чистенький оранжевый кирпич, красные крыши, умытые окна — да не простые, квадратные, а высокие, в полстены, вырезанные полукругом по верхнему краю.

Местные жители только качали головами, жалея будущих хозяев: комары сожрут, земля из-под ног уйдёт, стены тонкие, крыши собраны кое-как, и вместе с этими хитровыдуманными окнами не удержат лютые зимние ветра и ливни.

Но покупатели — люди нездешние — видели только трепет ивы и весёлый рыжий кирпич, а уж внутри домишек и вовсе теряли дар речи: зря, что ли застройщик расставил по комнатам фасонистых кроватей с вензелями на спинках, укрыл их пушистыми покрывалами, а в изголовьях повесил картины — то с обнажённой девицей, то с кораблём, стоящим в ровном, как одеяло, море.

Но даже с блестящими шторами и мягкими креслами дома отчего-то не выглядели жилыми, и было внутри них неуютно, тихо и пусто. Домам нужны были люди.

* * *

Автобус довозил отца с мамой почти до самых ворот посёлка. В будочке охранника они получали ключи, а пос-

ле, не торопясь, будто бы вживаясь в роль, шагали по укрытой плиткой аллее к дому под номером шесть.

Отпирали калитку — мама непременно заглядывала в укрепленный на ней почтовый ящик, будто бы ожидая письма — и входили во двор. Мама тут же хваталась за лейку, поливала полосатые петунии, гнездившиеся в пластиковых горшках, а после выметала со двора сухие цветки и листья. Отец отпирал дом и распахивал окна — комнаты нужно было хорошенько проветрить — и брался за швабру. К половине десятого в доме было свежо и чисто.

Отец включал в гостиной телевизор, выбирая какой-нибудь музыкальный канал, а мама доставала из холодильника упаковку яиц и молоко. Мука хранилась в шкафчике у раковины. Там же стояла и большая бутылка подсолнечного масла.

Около десяти мама разбивала в миску три яйца, разбавляла их молоком и маслом, добавляла муку и, не торопясь, перемешивала жидкое тесто вилкой. Отец доставал из кладовки лопату и шёл в огород.

В одиннадцатом часу возле калитки останавливалась длинная белая машина. Выбирались из неё, шурясь от утреннего, но уже ослепительного солнца, незагорелые люди — чаще всего немолодые пары, реже — одиночки. С водительского места выходил Аркадий — смуглый, гладко выбритый, всегда с капельками пота над верхней губой и на лысине. Аркадий, улыбаясь, распахивал перед своими пассажирами калитку и, не оборачиваясь, нажимал кнопку на брелоке сигнализации. Машина тонко взвизгивала, и двери её запирались со щелчками, похожими на стук мышеловки.

— Покупатель должен понять вот что, — растолковывал Аркадий отцу и маме, принимая их на работу в мае. — Вы в этом доме живёте хорошо, и продавать вам его жалко. Продукты из холодильника не жрать, я всё проверю. Телевизор включать в половине десятого — только музыку, никаких ток-шоу и новостей. Ты! — Аркадий ткнул в отца пальцем, — в десять идёшь в огород. Копаешь там хорошенько. Если поинтересуются — скажешь, всё решил

перекопать и сделать газон. — А ты! — поглядел он на маму, — тесто месишь: три яйца, мука, молоко и масло. Печку включишь — прогоню обоих. Покупатели уедут, тесто в холодильник поставь, я потом заберу. В сортире чтоб чистота была. В душ не вздумайте лазить. На кроватях будете валяться — сразу уволю. На диван садиться только при покупателях. Если спросят, почему продаёте, говорить, что сестра на Урале родила тройню, и вы решили всё продать и ехать ей помогать, ясно? Я привожу покупателей в десять, в двенадцать и в три. После трёх всё выключили, закрыли и ушли. Ключи сторожу отдали. За день работы даю пятьсот рублей. Устроит?

Отца и маму всё устроило.

Покупатели любопытничали, заводили беседы, и в отце обнаружились вдруг недюжинные актёрские способности. Мама немного стеснялась, всё возилась со своим тестом, а отец по-хозяйски раскрывал двери комнат, рассказывал о тройняшках-племянниках, даже не дожидаясь вопросов, а потом, в саду, махал руками, показывая, где была у него капуста, а где помидоры, и что надоели они ему хуже чертей, и решил он разбить по всему саду газон, а она — махал он в сторону мамы — пусть бы уж цветов своих бесполезных по краям рассадил, и вообще, если бы не тройня и не подлец сестрин муж, кинувший её перед родами и все деньги с собой прихвативший, ни в жизнь бы они с этой земли не тронулись.

Аркадий улыбался, покупатели сочувствовали.

Когда белая машина уезжала, отец и мама отдыхали. Перекусывали припасёнными бутербродами, сидели рядышком на скамейке, любясь пляшущими на ветру ивовыми ветвями. Когда становилось жарко, уходили в дом, лежали на мягком ковре в гостиной и молчали, не забывая следить за часами. Они загорели и были очень счастливы — каждый день с девяти до трёх.

Даже по маминым рассказам Лина очень полюбила тот дом. Одноэтажный, приземистый, выстроенный не для человека, а для продажи. Полюбила полосатые петунии, иву в конце огорода, огромные окна, охотно впускавшие

в дом солнечный свет. Полюбила тишину, мягко опускающуюся на дом и двор сразу после отъезда белой машины. Очень хорошо представляла себе, как мягко и легко входит лопата в десятки раз перекопанную землю, как стучит венчик о керамическую миску, как льётся на полосатые петуниевые цветки прохладная вода. Привязалась даже к соседям — пожилым тётке Свете и дяде Серёже, таким же ненастоящим хозяевам, которых уволили ближе к августу, потому что тётя Света, несмотря на строгий запрет, сварила себе кофе и упустила его, залив блестящий хром печки. И Лина чувствовала то же, что и мама с отцом, ежедневное сожаление, когда нужно было запереть дом и калитку, отдать ключи сторожу и вернуться в крохотную равнодушную комнатку со следами убитых комаров на белёных стенах.

Уже к началу осени десять домиков в посёлке были проданы. Последний, под номером шесть, продали пятого сентября. Мама и отец на сделке, конечно, не присутствовали — вместо них, вооружившись нужной доверенностью, все подписи оставил Аркадий. Он передал новым хозяевам ключи и только пожимал плечами в ответ на все их вопросы о прежних владельцах.

Отец звонил Аркадию и спрашивал, не найдётся ли у него ещё работы, желательно такой же, непыльной. После двух бессмысленных разговоров Аркадий перестал брать трубку, а мама плакала по ночам, причитая, что хочет домой, подразумевая под домом тот, ивово-комариный оазис.

В конце октября, в самый разгар нежнейшего бархатного сезона, отец и мама покинули свою съемную комнату и отправились на вокзал, насмешив кассира просьбой продать им билеты куда-нибудь на Урал.

— Город, город мне назовите, мужчина! — кричала она, смеясь, а отец смотрел на маму растерянно.

Мама ещё спала, Лина старалась не шуметь и даже кружку мыть не стала. Уткнулась в телефон, листовая раз-

ноцветные ленты новостей, раскрывая не отвеченные сообщения, стирая ненужные письма.

С мамой они вчера поссорились, потому что Лина рассказала ей, что собирается поехать на юг работать русалкой. А когда заработает много денег, откроет свой собственный морской аттракцион — наверняка это очень просто, если подойти к делу с умом — девочки на ютубе об этом всё-всё подробно рассказывали. А уж на собственном аттракционе можно заработать кучу денег и, может быть — тут Лина выложила свой главный козырь — купить на юге небольшой домишко. Лина старалась, описывая свой будущий хвост — изящный, блестящий, гладенький, и длинные волосы, несущиеся за нею как медузовые щупальца, а на груди — как и положено у русалок — две плоские ракушки, скреплённые в морской лифчик. Или океанский — так лучше звучит. И сделать-то осталось самую малость: уехать из серенького — ни рыба ни мясо — городишка к нежному югу, устроиться там в океанариум или какой-нибудь туннельный бассейн, а там уж выплывать навстречу гостям, прижимать ладони к толстому стеклу, улыбаться и отмахиваться от стремительных рыбок.

Мама сначала слушала с недоумением и молча, а потом, конечно, разошлась.

— Да ты даже плавать толком не умеешь! — кричала мама, краснея и задыхаясь, — ты как папаша твой, с шилом в заднице, ничего по нормальному сделать не можешь! И так сидим тут на птичьих правах, а я уже двадцать лет как перекасти поле болтаюсь! Сначала с ним, теперь вот с тобой! А я, может быть, совсем другого заслужила! Я, может быть, совсем не так хотела жить! Какие русалки, к чертям собачьим? Точно, как отец — придумаешь полоумие какое-то и радуешься! То гитара эта, на голове вечно бардак, шляешься неведомо где по ночам!

Она махнула рукой, а Лина замерла — может быть, вот прямо сейчас мама расскажет то, что наотрез отказывалась рассказывать — почему и куда ушёл от них отец, где он может быть сейчас и можно ли его найти? Ведь у неё, у

Лины, точно такое же шило в заднице, и они наверняка бы поняли друг друга!

Но мама больше ничего не сказала, ушла в комнату и закрыла за собой дверь.

Целый день они не разговаривали. Еле дождавшись вечера, Лина прихватила гитару и сбежала в парк — к своим.

3

Девушка открыла дверь и впустила Олега Петровича в прихожую — тёмную и тесную, напичканную острыми вешалками, полками, тумбами; увешанную одеждой — сплошь серой и чёрной, уставленную отчего-то непарной обувью — один сапог, один тапок... Олег Петрович немедленно наткнулся плечом на металлическую ветку вешалки, засопел, потирая ушибленное место, повернулся, попятился и споткнулся.

— Тихо ты, тихо! — девушка удержала его за рукав пиджака. — Мама услышит. И не разувайся. — Она потянула его вперёд и влево, — вот тут кухня.

Олег Петрович, не разбирая пути, шагнул за нею, повернул куда-то в темноту и зажмурился от брызнувшего вдруг в глаза яркого света.

— Люблю, когда светло! — сказала девушка и подвинула поближе к Олегу Петровичу хлипкую табуретку, — садись, папуля.

— Я, наверное, пойду, — неуверенно ответил Олег Петрович, — сколько я тебе должен за гитару?

Вино из его головы окончательно испарилось, остался лишь звон и страх — а ну как выскочат из соседней комнаты бугаи, отберут бумажник, телефон? А если ещё и побьют? Как это так вышло — пару часов назад сидел себе в хорошем ресторанчике, веселился, и вдруг оказался непонятно где в убогости и тесноте? И ведь даже не расскажешь потом никому, что с ним приключилось — не поймёт никто. И как ей теперь отдать деньги за гитару, чтобы бумажником не светить?

Он оглянулся вокруг — бывать в таких крошечных кухнях ему не приходилось с юности. Однако стол был чис-

тый, светились белым кухонные шторы, выстроились на сушилке у раковины до блеска отмытые тарелки и чашки, а над столом висела фотография пожилого мужчины в толстом галстуке и очках.

— Дедушка? — кивнул Олег Петрович на фото только для того, чтобы что-нибудь спросить.

— Не-е-т, — протянула девушка, — это хозяин квартиры, он одноногий и почти не встаёт. А мы за ним с мамой присматриваем, ухаживаем, и за это здесь живём. А вчера его в больницу забрали, что-то с сердцем. Но у него частенько бывает.

Она достала из сушилки две чашки и включила чайник.

— Чаю?

Олег Петрович открыл было рот, чтобы отказаться, но в кухню из тёмного коридора бесшумно вошла невысокая полная женщина — немолодая, с пушистыми распущенными волосами, слишком длинными для её возраста и роста.

Увидев Олега Петровича, женщина охнула, пошатнулась и оперлась спиной о стену, чтобы не упасть.

— Лёша... Лёшенька! Ты вернулся!

Она кинулась к Олегу Петровичу и обняла его, замерев и даже не дыша.

От её волос пахло кухонным чадом, и обхватила она Олега Петровича так, как держат соперника уставшие боксёры.

— Простите, — сказал он, осторожно пытаясь освободиться от объятий, — извините...

— Лёшенька, как же мы долго тебя ждали, — прошептала женщина и подняла лицо, вглядываясь в Олега Петровича с восторгом.

От изумления он даже перестал сопротивляться её рукам и отчего-то, не отрываясь, тоже смотрел в её лицо — печальное и бледное, будто бы отсыревшее.

— Мам! Мама! Отпусти его! — смеялась девушка. — Это не папа! Он мне гитару сломал, обещал новую купить! Не папа это!

Женщина снова охнула, отпустила Олега Петровича, отступила на шаг и прищурилась.

– И правда не он... Но похож... Немножко.

Она неловко улыбнулась и поправила волосы.

– Вы простите... Я обозналась... Гитары, значит, продаёте?

– Не продаёт, а сломал, – вставила девица, но женщина её будто бы и не слышала.

– Вы извините, – повторила она, – я не нарочно. Муж просто уехал, а я его всё жду и жду. Должен вот-вот, на днях появиться. Вот и обозналась...

– Бывает, – пробормотал Олег Петрович, изнывая от неловкости, – так я пойду.

– А гитара? – удивилась девица.

– Пойдите, – сказала женщина, – вы не обращайте внимания, у нас тут тесновато и беспорядок. А ведь мы когда-то на юге жили... Такой был у нас хороший дом! Двор весь плиточкой, а по бокам я петунию насадила, поливала её каждый день, ухаживала... В доме всё по уму: и ковры, и диваны, и даже картины висели – красивые-е-е... А в конце огорода – огромная ива! А муж-то мой, знаете, чего удумал? Весь огород перекопал, капусту там, помидоры, всё убрал, и газон сделать хотел! Но пришлось наш дом продать и уехать сюда, род-не помощь была нужна...

– Мам, перестань, – негромко сказала девица, – не надо.

– Что не надо? Что? – возмутилась женщина. – Ты вообще молчи!

– Представляете? – обратилась она к Олегу Петровичу, – эта-то что вытворяет? Бегает всё в этот парк по ночам, играют они там на гитарах, видите ли. Знаю я эти игры! Ходит как попало, косы плетёт, вон, на лоб какую-то дрянь цепляет. А вчера вообще заявила, что хочет уехать от меня и работать русалкой, вы только подумайте! Был бы отец здесь, он бы мигом ей мозги вправил. Но уехал вот, уехал... Вы простите, что я так глупо обозналась, темно тут, а я растерялась как-то. А я может, ещё пожить хочу, мне ведь всего сорок семь! А вот вы – женаты?

Олег Петрович торопливо кивнул и вдруг – непонятно отчего – с благодарностью подумал о своих бывших жё-

нах: и о первой, и о второй. Ему снова стало страшно, но не за бумажник и телефон, а за собственный рассудок. Дом? Ива? Русалка? Всего сорок семь?

Но женщина не умолкала и говорила всё быстрее, слова её будто сыпались Олегу Петровичу на голову и больно стучали по макушке.

– Я ей твержу, что нужно по уму жить. Люди вон, – она кивнула на Олега Петровича, – шляпы носят, – а она что? А я ведь тоже поддержки хочу. Дом хочу. Дерево. Почему у кого-то есть дерево, а у меня нет? И вообще устала я, ох как же я устала... Ещё дедушка у нас заболел, сердце у него прихватило...

Женщина закрыла лицо руками и заплакала.

Девица, не глядя на Олега Петровича, обняла её и стала покачивать, словно расстроенного ребёнка.

– Ну не плачь, не плачь, мам, всё будет хорошо! Не поеду я никуда, если ты не хочешь, не поеду! И всё непременно будет хорошо! Вот помрёт дед, квартиру на нас переписет, и будет у тебя свой собственный дом!

– Ну да, конечно, переписет он, – всхлипывала женщина, – у него три внука и племянница... А мы ему никто-о-о...

– А он на нас переписет, вот увидишь! Внуки ему ногти на ноге не стригли, а мы стрижем... – девица гладила женщину по спине и сама еле сдерживала слёзы, – и мы с тобой мигом весь хлам из коридора выбросим, правда-правда! А хочешь, коврами всё застелим – ходить будет мягко. Картины повесим, и цветов понасадим на балконе.

Женщина ничего не отвечала и только кивала, вздыхая и дрожа.

Олег Петрович тихонько, чтобы никто не заметил, отступил к коридору. Достал бумажник и вынул из него две красненькие бумажки. Подумал и вынул ещё одну – синюю, подержал и спрятал обратно. Положил две бумажки на табурет и на цыпочках попятился к выходу.

Никто его не удерживал и не окликал; он вышел к лифту, но сесть в него не рискнул, спустился по лестнице и

толкнул тяжёлую, на пружине, подъездную дверь. На улице уже совсем стемнело, но так радостно и ровно светили фонари, и смеялись где-то за углом так беззаботно и легко, что Олег Петрович расправил плечи и пошёл вперёд, без труда справившись со странным ощущением — лишь на секунду показалось ему, будто бы он что-то забыл сказать или сделать.

НЕ ШКАФ, А ШИФОНЬЕР

— Ты знаешь, — шептала Сашка в телефон, — мне кажется, ему должно быть очень стыдно.

— Почему? — спросила я и подумала, что уж чем-чем, а стыдливостью Сашкин бывший не отличался.

— Понимаешь, он же счастливый теперь. А я как была несчастная, так и осталась. Ну, я же не виновата, что так всё получилось. И вообще, может быть, он теперь мой должник, потому что я его так легко отпустила и даже ни разу не видела эту его новую... Вареньку... Манечку...

— Ещё платье полосатое, музей, — подхватила я, радуясь, что Сашка шутит, да ещё так литературно.

Но Сашка не смеялась, и слышно было, как тяжело и медленно она вздыхает.

— Знаешь, — повторила она, — ему должно быть стыдно. Я сижу тут с кошкой совсем одна, а у Юрочки всё так прекрасно и легко. Я всё представляю, как они с этой новой живут. Ты же у них не была?

Юрочка наверняка и на порог не пустил бы ни одну из Сашкиных подружек, но я, смирившись с тем, что разговор будет долгим и по кругу, протянула очевидное: «Не-е-е... Не была...».

— Мне кажется, у них должно быть три или четыре комнаты, да. И все большие, светлые. И мебель вся светлая, и всякие шторы-занавески. Подушки там всякие диванные. Он любит, когда светло и чисто. А у меня стены зелёные. И шкафы эти... Как гробы.

Я очень хорошо знала Сашкину квартиру — я снимала у неё одну комнату несколько месяцев, когда только переехала в К..., и возражать не стала. Комнаты у неё действительно были крохотные и тёмные. Даже при распахнутых окнах безо всяких занавесок, в самые солнечные дни квартира оставалась сумрачной и будто бы подземной, с клетчатými вязаными ковриками, длинными остролис-

тыми цветами в тяжёлых глиняных горшках, с огромными, до потолка, шкафами, набитыми всякой дрянью.

Да и сама Сашка несла на себе какую-то странную, похожую на эту квартиру, печать полумрака и заброшенности. Но те три месяца, что я жила у Сашки, я вспоминала как самое уютное и безопасное время в своей жизни. Похожие на берлогу комнаты будто бы прятали меня от опасного, слишком яркого и яростного мира; в них можно было ни о чём не беспокоиться, ничего не бояться и никого не ждать: кто будет искать меня здесь, между набитыми книжной разносортницей полками и гигантским платяным шкафом, носившим у Сашки гордое имя «шифоньер».

Сашка тихо возилась в своей комнате — перебирала книжки, журналы, какие-то мотки разноцветной шерсти, начатые и незаконченные вышивки, старые рисунки, открытки, коробочки с бусинами, пуговицами и бисером. Дымчато-серая кошка сидела рядом с ней — обычно прямо на столе, у ноутбука, и Сашка, отрываясь от своей возни, фотографировала её и тут же присылала мне мутные кадры.

— Видела, как она глядит? Глаза же светятся! — кричала она мне через стенку, пока я тихо плакала на раскладном диване от тоски по маме и родному городку. Я открывала сообщение, смотрела в круглые жёлтые кошачьи глаза и кричала в ответ:

— С ума сойти можно!

Через месяц я перестала тосковать, привыкла к своему дивану и полированной, отбрасывающей тусклые блики мебели, и мне казалось, что так я смогу жить вечно, а другие люди и другой мир — пустые выдумки. Через два месяца я с трудом заставляла себя выходить на улицу, а через три — сбегала от Сашки в университетское общежитие. Там, тоже в крохотной, но очень белой и чистой комнатке, в шуме, злости и бессоннице, в ссорах с соседками и комендантом, Сашкин мир, безопасный и пыльный, покинул меня окончательно, оставив только сожаление и стыд — будто бы я вышла на свет, оставив её в темноте совсем одну. К сожалению и стыду — вот странное дело — примешивалась и зависть: я вправду завидовала и Сашкиному равнодушию к жизни, и тому, что ей совсем не

страшны неблагоприятие, неудачи, старость, да и смерти она, скорее всего, не заметит — так и останется вечной тихой девой в своём подземном мире, открытом только избранным и изгоняющим неугодных.

Сашка, правда, на мой побег совсем не обиделась: тогда она уже познакомилась со своим Юрочкой — он стал её новым жильцом и спал на том же диване, где недавно спала я.

Потом они стали спать вместе, и Сашка звонила редко.

Через месяц отметили что-то вроде помолвки — Сашка нарядилась в длинное и розовое, гости — незнакомые друг с другом, слегка растерянные, теснились у стола с покупными кексами и газировкой, а жених глядел сонно, будто бы не совсем понимая, что происходит.

Потом Сашка не звонила долго. А потом, вся в слезах, пришла ко мне на лекцию по гражданскому праву, и я бросила свои тетрадки, вышла в коридор и обнимала её, а она плакала и плакала, и мне снова было стыдно и жалко — не её, а её дурацкую полутёмную жизнь; и я снова завидовала — не ей самой, а её беспомощности, лёгкости и — не смотря на неподдельное горе — какой-то детской, неуязвимой беспечности.

Юрочка ушёл, а вместо него — всего через пару недель — Сашка привела домой нового жильца и тут же позвала меня знакомиться.

Новичок был неприятен и несвеж, представился фотографом, протянул мне для рукопожатия правую руку без двух пальцев — указательного и мизинца, и поглядел с вызовом. Я аккуратно пожала эту руку и всё думала, как же он фотографирует? Может быть, он левша? Но выяснить это не удалось — новенький быстро напился, перестал разговаривать, хмурился, а потом и вовсе уснул, уронив голову прямо на стол.

— Это он от смущения пьёт. Знаешь, он хороший, только очень чужих стесняется, — объяснила мне Сашка и накрыла фотографа пледом. Я посидела ещё немного, погладила желтоглазую кошку и попрощалась.

На улице моросило, а зонт я не взяла. Можно было вернуться и переждать дождь у Сашки, но возвращаться я не стала и только ускорила шаг.

ВРЕМЯ КРАСНЫХ ПТИЦ

— А ребенка-то знаешь как зовут? Сядь, если стоишь. Мирон! Вот и я говорю, идиотизм какой-то. Так я не поленилась, поискала, чту имечко это значит. Ну-ну... Да ты что? А она?

Неведомый собеседник перебивает Марью Ивановну своей историей — из трубки доносится поквакивание и дребезжание. А вдруг Марья Ивановна и вправду говорит с большой лягушкой? А ну как лягушка прискачет сюда? Усядется рядом с кроватью, сама холодная, как зеленый лед, и вся блестит. Мироша терпеть не может лягушек и змей. Вот птицы — другое дело. Они в пушистых перьях и умеют летать, ловко подобрав остренькие лапки.

— Кошмар... Кошмар! — возмущается Марья Ивановна чем-то услышанным и гнет свое: — Так я ж тебе говорю, я не поленилась и узнала, чту этот самый Мирон означает. Ляг, если сидишь. Бла-го-у-хан-ный! Представляешь?! Ну-ну... А ты что?

Мироше не спится. День на дворе в самом разгаре, но ровно в три часа Марья Ивановна задергивает плотные занавески и велит уснуть. Мироша знает, что ей просто очень хочется поговорить, а в ее толстеньком кнопочном телефоне прячутся самые разные голоса. Кто квакает, кто присвистывает. Голоса всё знают про Мирошу: и про имя, и про маму, и про высокую температуру.

— Да какой там отец, я тебя умоляю, бросил ее давно, — говорит Марья Ивановна в трубку. — Я соседка, вроде чужой человек, так и то чаще ребенка вижу. Жалею мальчишку: простыл, теперь дома сидит. А матери на работу надо, не дают ей больничный, уволить грозятся. Ну да, я тут не бесплатно, не бесплатно. Пенсии нынче сама знаешь какие.

Марья Ивановна принимается рассказывать, чту видела сегодня в магазине, и куда ездила позавчера, и куда поедет завтра.

— Куры свежие, а вот сметану разбавляют! — твердит она квакающему голосу и слушает в ответ далекие бульканья и переливы.

Мироше становится так скучно, что он и в самом деле засыпает — легко, на самой верхушке сна и, кажется, всего на несколько минут. А когда просыпается, занавески уже раздвинуты, окно из солнечного стало серым и ни следа Марьи Ивановны в комнате не осталось.

Он отбрасывает душное одеяло — вот так тебе, ногами тебя в комок! — несется по скользкому полу на кухню, вытаскивается лохматой головой прямо в мамин живот и хохочет: нет никаких лягушек, и скуки нет, потому что мама дома!

— Мирошкин, ну не плачь, — утешает его мама полчасу спустя. — Всего два дня осталось! Сегодня Марью Ивановну вытерпел? Вытерпел. Завтра тетя Марина придет. А послезавтра... — мама подмигивает, — сюрприз будет! А потом выходные, и я буду дома, с тобой, никуда вообще не уйду ни на минутку! Ну, Мирошкин, ну два дня же! Потерпишь?

От мамы пахнет горьковатой прохладой: этот дождевой, свежий запах каким-то чудом втиснут в пузатый флакон, стоящий в коридоре у зеркала. Мироша думает, что, если станет совсем неспособен, можно будет этот флакон понюхать. А тетя Марина куда лучше Марьи Ивановны. А потом вообще — сюрприз.

— Ладно, — говорит он, — я потерплю.

* * *

Тетя Марина хоть и хорошая, но играть совсем не умеет, и Мироше уже в третий раз приходится объяснять, почему никак нельзя, чтобы красную птицу поколотила синяя.

— Красная — самая сильная, понимаешь? А синяя — слабенькая, она птенец еще. И вообще они дружат. У них домик вот здесь, под картонкой.

Тетя Марина берет красную птицу и делает вид, будто та идет по дивану, переваливаясь с лапы на лапу.

— Я самая сильная и красная! — сердито басит она, и

Мироша смеется, потому что красная птица никогда не злится и уж тем более не ходит как пингвин.

— Не так! Дай покажу!

Он тянется за игрушкой, но тут у тети Марины звенит телефон.

— Да! Алло! — кричит она, вскакивает и опять садится.

— Ты где?

Телефон у тети Марины широкий и плоский, как тоненькая книжка. Лягушек, похоже, в нем не водится, а сидит кто-то суровый, не говорящий, а гудящий в тетя-Маринино ухо. Мама говорила, что у тети Марины есть муж и он странный. Наверное, это он и гудит на тетю Марину так, что даже Мироше не по себе.

Тетя Марина долго слушает, закрыв глаза и поджав губы, а потом начинает стрекотать быстро, как заводная машинка.

— Нельзя так, ты понимаешь, нельзя так со мной! Я ни в чем перед тобой не виновата, зачем ты меня мучаешь? Я звонила-звонила, а ты два дня недоступен, вдруг с тобой что-нибудь случилось? Я ведь спать не могла, волновалась! Да не слежу я за тобой, не слежу! Я же люблю тебя!

Голос гудит в ответ — что-то обидное, потому что тетя Марина плачет. Мироша удивляется: как можно так плакать, когда глаза закрыты, а лицо совсем спокойное, будто она и не расстроилась? Если Мироша ревет — то всем телом и рот открывает пошире, ведь так же куда удобнее.

Тетя Марина снова вскакивает и убегает в соседнюю комнату, плечом прижимая телефон к щеке. Через стенку Мироша слышит, как она говорит, но не слышит что — это похоже на жалобную песню без слов.

Красная птица лежит на диване, а синяя так и прячется под картонкой. Мироша вздыхает и принимается за дело один: птицам нужно слетать за добычей, пообедать, а после навести порядок в своем домике. К маминому возвращению нужно все успеть. А завтра будет сюрприз.

* * *

— Так полынью и поливаешься? Зачем тебе эта горечь? Женщина должна пахнуть сладким, съедобным чем-нибудь, а не тоской зеленой.

Мама смотрела на говорившего недоверчиво и как-то обреченно, но тут возмутилась:

— Без тебя разберусь, понял?

— Тогда я пошел?

Улыбаясь, мужчина сделал шаг назад.

— Да стой. Хоть перед собственным сыном не придуривайся, ладно? Решил исправляться, так исправляйся. А я, вообще, опаздываю. Температура у него небольшая, хотя горло еще побаливает. Лекарства на столе, если что — сразу звони.

Мужчина ничего не ответил, потому что увидел Мирошу: тот стоял в дверном проеме и смотрел на маму сонно и вопросительно.

— Мирошкин, доброе утро! — как-то слишком обрадовалась мама. — А вот и сюрприз! Папа твой приехал. Помнишь, я говорила тебе, что он отправился далеко-далеко в чужую страну, никто оттуда не может ни доплыть, ни долететь? А он смог — и доплыл, и долетел! И вам пора познакомиться и подружиться.

— Здорово, парень!

Мужчина шагнул к Мироше, подхватил его под мышки и закружил так быстро, что все перед глазами смешалось: и мама, и зеркало, и вешалка, и розовый утренний свет, падающий из открытой кухонной двери...

— Ну, брат, рассказывай!

Мама уже ушла, а папа уселся в кресло, вытянув ноги почти до середины комнаты.

— Как живешь? Чем занят?

Мироше очень хочется побегать вслед за мамой: может быть, она разрешит пойти с ней на работу? Или позвать Марью Ивановну. Или пусть плачущая тетя Марина придет. Откуда он взялся — папа? И что, теперь прямо сразу его так можно называть? Мироша пробует произнести новое слово про себя. Папы всегда были

у других, а чтобы вот так, собственный появился — это еще привыкнуть надо... Однако мужчина глядит на него так весело и открыто синими-пресиними глазами, что от этого взгляда, и улыбки, и особенного, никогда не виданного Мирошей сочетания яркой черной бороды и белого свитера внутри становится светло и счастливо и хочется рассказать сразу все: и про красную птицу, и про царапающие горло коготки простуды, и про кудрявую девочку Олю из старшей группы, и про то, что на самом деле пахнет от мамы замечательно — чистой холодной водой.

— Я... — начинает Мироша, но папа вдруг перестает улыбаться и хлопает себя по карманам брюк.

— Черт, — сквозь зубы бормочет он, — телефон опять потерял. Черт! Так, парень, быстренько собирайся, смогаемся в одно место и вернемся. Где там твоя одежда, показывай.

Он очень торопится, и Мироша не успевает ничего объяснить: ни того, что куртку обычно не надевают на пижаму, ни что желтая шапка куда теплее синей и что перчатки прячутся в нижнем ящике комода под мохнатым маминым шарфом.

* * *

В просторном зале тихо, холодно и темно. Мягкие кресла поджали сиденья, словно боясь пустоты вокруг. Свет горит лишь на высокой сцене, а в самой ее середине, прямо на досках сидит лысый старичок и крутит в руках длинные железные палки.

— Опа, — говорит он, увидев Мирошу, — и кто это у нас такой?

Папа легонько подталкивает Мирошу к ведущим наверх ступенькам.

— А это у нас сын. Мирон называется.

— Ух ты! — удивляется старичок. — Ну, здравствуй, здравствуй. Слушай, а стойки-то менять придется.

Папа пожимает плечами — наверное, ему все равно — бродит по сцене туда-сюда и бормочет что-то руга-

тельное, но не злое, а потом с ликованием хватает блестящий телефонный прямоугольник, валяющийся у складчатого занавеса.

— Нашел! — кричит он. — Фу-у-ух... Вечно из кармана все валится. Вот, брат, погляди, где у тебя родитель работает. Это тебе не просто так, а театр! — На этом слове папа поднимает вверх брови и указательный палец.

— Храм искусства, — серьезно кивает старичок. — Ты к завхозу, кстати, зайди, он тебя еще вчера искал.

Папа опять чертыхается, берет Мирошу на руки, выбегает из полутьмы зала в узкий, ярко освещенный коридор — не прямой, как в детском саду или у мамы на работе, а похожий на лабиринт, ведущий то в стороны, то вниз.

Добравшись до центра лабиринта и толкнув толстую дверь, папа, так и не отпуская Мирошу с рук, долго кричит усатому дядьке что-то непонятное, тот кричит на него в ответ, потом они хохочут и спешат в соседнюю комнатку, где пахнет пылью, а в разноцветных ворохах ткани возятся три женщины с огромными ножницами. Мирошу усаживают в угол на толстый рулон марли, суют печенье, шоколадку и сморщенное старое яблоко.

Он грызет угощение не глядя — так много всего интересного кругом, только вот холодно очень. Высоко по стенам на длинных крюках развешаны чьи-то наряды: самые обыкновенные рубашки и пиджаки покачиваются рядом с бархатными плащами, стальными кольчугами, ковбойскими шляпами, звериными масками и пышно взбитыми, облачными платьями. В комнатку заходят и заходят люди, и непонятно, как это они помещаются на крохотном, заставленном тряпичными колоннами пятачке. И каждый, кто заходит, видит Мирошу и спрашивает, кто это у нас такой, а после удивляется и здоровается.

Затем включают музыку, и она то льется, то прыгает между полом и потолком, не оставляя ни единого пустого местечка в этом чудном и донельзя переполненном миреке. У Мироши кружится и немножко болит голова, но отвлекаться никак нельзя, нужно во все глаза смотреть, как папа смеется, и слушать, как он говорит. Если бы еще мама

была здесь, если бы она пришла... И то душное одеяло с собой прихватила...

— Родитель, а родитель, — спохватывается одна из женщин с ножницами, — ребенок-то у тебя не хворает? Гляди, кукутся как.

Папа хлопает себя по лбу, снова хватается Мирошу на руки и бежит куда-то, но Мироша уже не видит куда, только чувствует движение воздуха вокруг себя на лабиринтовых поворотах коридора — то ли падение, то ли полет. Он пытается устроиться поудобнее, свернуться в калачик и согреться, и вскоре ему кажется, что на макушке у него сидит красная птица с перьями легкими и пушистыми, обнимает его, своего слабенького птенца, закрывает ему лицо мягкими крыльями, шепчет, что все будет хорошо, и пахнет дождем — тем самым, что прячется в мамином пузатом флаконе у зеркала.

КУРИНАЯ СЛЕПОТА

1

Выезжали спозаранку. Новая хозяйка квартиры глядела с любопытством — и на аккуратные чемоданы, и на рюмочку с корвалолом, и на заплаканное материно лицо. Мать пустилась было в беседу — объясняла, что раковина на кухне иногда капризничает, а полпакета стирального порошка — хорошего, дорогого — остались в ванной, но под Катиным взглядом осеклась и умолкла. Жаркие солнечные квадраты, вплывающие в окна по утрам, отправились в свой ежедневный путь от подоконника до стены, отмеряя время от завтрака до полудня, чтобы исчезнуть в тихий обеденный час уже на чужих, равнодушных глазах. Хлопали двери на сквозняке, лился в комнаты привычный уличный шум, и таксист, вошедший без звонка и стука, подхватывал чемоданы с такой лёгкостью, словно были они совсем пустые.

Усевшись на детское одеяльце, зачем-то расстеленное водителем на заднем сиденье, мать закрыла глаза, чтобы не видеть, как движется рядом с автомобилем знакомый до кочки двор — с недоумением, прощаясь, прячась где-то за спиной, в полутёмном закоулке памяти, отведённом для ушедшего и потерянного. Потом стыдилась залитых слезами щёк, встряхивалась, шумно рылась в сумочке, доставала то расчёску, то зеркальце, то бутылочку с кипячёной водой. День выдался дивный — чистый, буднично-простой, такси летело легко, минуя светофоры без задержек, и быстро, очень быстро, вырос впереди острый, похожий на огромную зубочистку шпиль вокзала.

Двигаться на юг ранней весной хотелось немногим — и оттого ленивый, длинный поезд оказался полупустым и тихим. Ветер резво гонял сухую пыль от путепровода до перрона и, казалось, что нет, и не может быть никакой трагедии в отъезде — а только обыденность, только скука.

— Надо же, — сказала мать, войдя в купе, — не повернуться. Как же мы тут три дня?

Вагоны задрожали и дёрнулись, заплесало в окне узкое полотно занавески и заработало неведомое раньше ни Кате, ни матери железнодорожное волшебство: стенки купе будто раздвинулись, а потолок поднялся. Мать зашелестела, засуетилась, закрутив возле себя небольшой смерч из постельного белья, пакетов и пузырьков.

— Главное, добыть кипятку, — бормотала она, — и не пропадём. Веник бы... Хотя, погоди, я же щётку складывала. Ноги подними-ка.

Где-то гремели чем-то железным — будто миски падали в тазы, а за оконным стеклом мелькали неяркими пятнами невысокие зданьица, построенные невесть для чего в каждой полосе отчуждения и всегда пустые.

— Ох, хосподи... — сказала мать, завершив хозяйственную возню. — Едем, значит.

Хотела было всплакнуть, но, опередив её, в соседнем купе зарыдал ребёнок — отчаянно, во весь голос, и мать только вздохнула, мгновенно перейдя от жалости к себе к сочувствию неизвестному дитяте и его родителям. «Маленькому-то в такой тесноте...», — прошептала она и мысленно перебрала содержимое упрятанного под полку пакета с припасами.

— Ты, Катюш, прикорни тут. Не спала ночь, наверное. А я схожу, погляжу, не надо ли чего.

И ушла, прихватив шоколадку.

Прошедшей ночью Катя и вправду не спала — дремала, не погружаясь в сон, а словно спотыкаясь, падала в неглубокие сонные ямки и тут же просыпалась — в гулкой, лишённой мебели комнате, ворочалась, пытаясь угнездиться, то мёрзла, то задыхалась от дурной, тревожной испарины. По-хорошему, при бессоннице положено было будить мать, и та, охая, прихрамывая, плелась на кухню, кипятила воду, кидала в чашку сухие щепотки — что там положено кидать, надо бы запомнить, наконец. Меленькие, колдовские движения, то ли шелест, то ли перезвон, шорохи и постукивания, а потом тишина и

жёлтый, спокойный свет, падающий из кухни на тёмные дощечки паркета. В этом безмолвии распускалась в чашке сухая травка — вспомнила! чабрец! — и таяла, уходила от Кати злая, осой жужжащая тоска. Два глотка горечи — и сможешь спать.

Но прошедшей бессонной ночью — пустой, последней ночью на старом месте, будить мать Катя не стала — сражаться с бессонницей было бы нечем. Ситечко, серебряная солонка в виде уточки, чайники — большой, маленький и средний, кастрюли, ковшики и черпаки, переложённые газетными листами тарелки, чайные чашки, мраморная ступка, супница в золотых цветах, никогда не используемая для супа, но хранящая в своём фарфоровом нутре тоненькие книжицы с рецептами сладостей и солений — все эти хрупкие обитатели кухонных шкафчиков уже позвякивали в темноте грузового вагона, пущенные в новую жизнь прежде своих владельцев.

Теперь и сама Катя неслась, покачиваясь, по рельсам, следом за домашними пожитками — содержимым двух комнат, балкона и кладовки, вспоминая, какой обиженной, униженной и обнажённой выглядела вся эта комнатная утварь во время погрузки и упаковки. Глупые мысли, бессмысленная жалость — саму-то Катю некому жалеть. И разве уснёшь тут, пусть и утихомирилось ревушее за стенкой дитя.

Мать вернулась через полчаса, укоризненно покрутила головой и изрекла неожиданное.

— Везучие мы с тобой, Кать.

— С чего это?

— Да вон, ребята туда-сюда мотаются, да с дитём ещё. От войны бежали. С юга — на север, не прижились, теперь с севера — на юг. У нас и паспорта, и полис — если что. А у них права птичьи — то ли беженцы, то ли непонятно кто. Я им про нас чуток рассказала, что продали мы всё и тоже вроде как бежим, но разве мы *так* бежим, Кать?

Слушать про беды незнакомцев Кате не хотелось, и она отвернулась, вслушиваясь в тяжёлый, с усилием, перестук, и улавливая лишь отрывки из материного бормотания:

«мальчику-то лет шесть, не больше... и ни дома, ничего не осталось... до сих пор стреляют... отец на руинах остался, в сарае живёт... в саду и яблони были, и вишня... сама-то опять беременная... и попивают, похоже... малыша жалко, не родился ещё, а уже несчастный...». Собственная беда по сравнению с чужой казалась Кате и важнее, и горче — пусть и совестно было бы сказать об этом вслух, но себе самой-то можно и не врать. А мать — бесхитростно, просто — от страшной, но исключительно чужой безнадёжности вдруг почувствовала себя счастливой, и стыдно ей от этого счастья не было, а только жаль было, очень жаль, что так в жизни выходит. И она представляла себе, как могла бы бежать с Катей от стрельбы и взрывов — непременно ночью, ведь большая беда всегда приходит в темноте, и бежали бы непременно налегке, ничего бы взять не успели, а теперь бы ехали, пугаясь каждого стука и голоса, и каждый мог бы их обидеть и прогнать. «И ни помыться, ни поспать...» — думала мать, всё покачивала головой и бормотала: «Это ж надо же, как...».

Мать была совсем не старая, но уже давно усвоила себе манеру старческую, пожилую — в беседе, в домашних хлопотах, и в том, как осторожно, бережно носила своё тяжёлое тело. Так было и проще, и хитрее; мать словно бы обманывала судьбу, жестокую к молодости и цветению, но равнодушно проходящую мимо отцветшего и поношенного — не закрашивала седину, говорила тихо, даже после недолгой прогулки спешила прилечь, платья выбирала широкие да потемнее, а на людях частенько прикладывала руку к груди и замирала, вслушиваясь и шевеля губами. В своей полноте мать чувствовала себя уютно, безопасно, будто тело окружало её — настоящую, невидную — надёжным, никому не интересным убежищем.

Ребёнок в соседнем купе опять заплакал, и завизжала следом за ним женщина. Упало на пол что-то тяжёлое, что-то завозилось и забилось. Шарахнуло дверью, и визг стал невозможно высоким, прервался, и посыпались вместо него слова — но ничего понять в них было нельзя, переме-

жающиеся резкими, короткими ударами, словно колотил кто-то в стенку кулаком.

— Что ж это? — мать смотрела на Катю растерянно. — Поубивают сейчас друг друга. Малыша напугают. Может, полицию надо? Где проводники-то?

— Да сиди ты, не суйся. — Раздражённо оборвала её Катя. — Тебе ещё достанется. Сами разберутся.

Разобрались и вправду быстро. Женщина умолкла, а ребёнок всё рыдал, и казалось, что плачет он не за стенкой, а совсем рядом. Мать осторожно отодвинула дверь и ойкнула — мальчик сидел на красном коврикe, подняв к ней мокрое лицо и растягивая губы скобкой — углами вниз.

— Ну-ка, давай-ка сюда, — скомандовала мать; он ловко, как змейка, скользнул мимо неё, и опрокинутая скобка тут же исчезла с его лица.

— Как тебя звать? Голодный? Ну, ничего, ничего, всякое бывает. И часто у вас так? Страшно тебе? — мать сыпала вопросами и суегилась — влажными салфетками вытерла мальчику лицо и руки, высыпала на столик кучу мелких свёртков — с бутербродами, печеньем, аккуратно нарезанными яблочными дольками, вафлями и конфетами.

Мальчик представился Петей и угощение принял охотно — держал всё предложенное двумя руками и грыз быстро, дёргая носом на беличий манер. На остальные материнские вопросы отвечал неохотно, пожимал плечами и хмурился. Вытянула мать из него лишь возраст — оказалось, что ему не шесть, а целых восемь лет, и очень хотел он, чтобы появился у него брат, а не сестра, потому что девочка никак ему не подойдёт, а брата можно всему научить и будет куда веселей.

Поезд тем временем въехал в сумерки, заспешил в сторону ночи, и мать сдвинула оконные шторы, закрыв тревожный профиль горизонта, выведенный на бесцветном небе чёрной тушью.

— Ложись, малыш, ложись. А вот я тебе простынку до-машнюю постелю, нечего на этих казённых тряпках спать, — и мать взмахнула перед Петей ситцевой, в цветочек, тканью.

Катя, недовольная неуместной материной добротой, забралась на верхнюю полку и глядела оттуда укоризненно и сурово, но потом уснула — на удивление быстро и легко.

— И ты спи, — мать робко дотронулась до лохматой Петюниной макушки — погладить не решилась, — завтра пораньше разбуду тебя, твои небось уже утомонятся, да и пойдёшь к ним.

Соседнее купе молчало — словно и не было там никого. Поезд замедлил ход, а после остановился. Мать слушала, как хрустят под чьими-то шагами камешки, как перегоривается с кем-то кто-то неведомый — негромко и печально, и сама опечалилась оттого, как равнодушно льётся в окно яркий огонь фонарей. Но прошло лишь несколько минут, и снова дёрнулись вагоны, уплыл в темноту фонарный свет, а поезд разогнался, качая лежащую мать из стороны в сторону. «Как младенца качает, — улыбалась она про себя, хотела было вспомнить, как укачивала маленькую Катю, но вместо этого подумала о Пете — надо ему с собой ещё шоколадок, да конфеты ещё где-то были...».

Проснулась она от тихого движения, несоразмерного ни вагонной качке, ни сну — где-то под ней, по самому полу, двигалось что-то маленькое, тёмное, и мягко ехала из-под её головы подушка — туда, под голову, мать уложила сумочку с документами и кошельком.

Скосив глаза в сторону, мать увидела пустую, устеленную ситцевыми цветами полку, и заговорила туда, вниз, к полу, внятно и неспешно:

— Петюнь, да там рублей пятьсот, не больше. Я забоялась деньги брать в поезд, ехать-то всего три дня, чего покупать-то? Лучше еды побольше взять, правда?

Маленькое и тёмное замерло, потом шмыгнуло носом и спросило:

— И карточки, что ли, нет?

— Нет, что ты, не люблю я их. Только сберкнижка, но по ней без меня никак не получишь. Ты с пола-то встань, простудишься. Может, поспишь ещё? Или конфет хочешь?

Темнота молчала, и мать сжалась, ощутив вдруг остро и болезненно собственную крупную тяжесть и подумав, что сейчас её надёжное телесное убежище защитит свою владелицу никак не сможет, ведь грозит ей не взгляд и не слово. «А если нож у него? Кричать? Катя испугается...».

— Я пойду, — сказала темнота, — а ты за мной закрой на замок. И не пускай больше никого, дура. — Ругательство вышло беззлобным и даже ласковым.

Дверь скользнула в сторону почти бесшумно — открылась и закрылась; мать, унимая дрожь, щёлкнула замком, улеглась, укуталась было одеялом, но тут же села и нащарила ногами тапки. Поезд снова умерял ход, серый утренний свет забрезжил меж занавесками, задвигались, а после остановились за окном острые, длинные тени. Мать встала, глянула на крепко спящую Катю, достала из-под подушки не добытую Петюней сумочку, накинула куртку и вышла в ледяные, весело пляшущие сквозняки коридора.

Соседнее купе было открыто, сердитый проводник сдирал с полок бельё и одеяла.

— Где ж соседи-то наши? — спросила мать, — погулять, что ли, собрались? А мы долго стоять будем?

— Техстоянка один час. А эти ночью ещё вышли, — ответил он и отвернулся.

— А мальчик как же? Они ж беженцы, куда ж они? — переполошилась мать.

— Да какие беженцы, врут для жалости, а вы слушаете. А пацан только что смылся, ещё и чай весь спёр, засранец.

— А если потеряется он? Может, в полицию?

— Женщина, знаете что... — начал было проводник, но умолк, махнул рукой и по лицу его читалось, как ненавидит он и это раннее утро, и мятые простыни, и мальчиков, и пожилых надоедливых толстух...

Выйти из вагона мать не решилась. Она стояла, крепко держась за поручень, и глядела на усыпанную светлым гравием дорогу и небольшой пруд, окружённый сухими, изломанными стрелами камышей. Зябли в воде деревян-

ные мостки, где-то далеко лаяли собаки, а колкий утренний холод марта даже не обещал весну.

Мать подумала, что пруд, и тёмные дачные домики, и прошлогодняя трава — всё это скучное, простое — она не увидит больше никогда; что через пару месяцев здесь будет зелено и шумно, а она никогда больше этого не увидит. И ей вдруг захотелось зашагать прямо в тапочках по дороге, чтобы камешки скользили под ногами, пройти по дощечкам мостка и опустить в холодную воду кончики пальцев, обернуться, посмотреть на медленно трогающийся, набирающий скорость поезд, а потом остаться совсем одной.

2

«Колдуй, баба, колдуй, дед, колдуй, серенький медведь...» — напевала мать, глядя в сердитое личико дочери; ишь, головёнка с кулачок, а такая серьёзная.

Страшно матери не было. Смутить её, помешать ей никто не мог: Катюшин отец, допущенный в дом даже не по слабости женской, а случайно, никогда больше материных порогов не переступал; а родни никакой в живых у неё уже не осталось. Некрепкий был её род, непрочный — всё болели, пропадали где-то, выбирая дороги самые неудачные, и, что хуже всего — переносили выпадающие на долю несчастья смиренно, без борьбы. Одна мать вышла покрепче, и даже грузностью своей отличалась от остальных — тонкокостных и сухоньких. И теперь нахмуренный младенческий лобик радовал её до слёз — сердится, значит, жить будет хорошо, прочно. «Колдуй, баба, колдуй, дед... — пела мать, пряча в шкаф тёплые от утюга бельевые стопки, — колдуй, серенький медведь...» — шептала, оглядывая перед сном свой беличий, припасливый мирок. И, хоть ведуний или, упаси бог, знахарок среди покорных судьбе материных родичей не водилось, своим шёпотом и мелкой ежедневной суетой сплела она чудную, никому не видимую сеть — колдовскую, не иначе.

Сначала, конечно, было неловко — дочь вплыла в жизнь совсем невесомой человеческой пылинкой; мать часами

сидела рядом со спящим ребёнком и думала, что даже хрупкое имечко Катюша кажется грубым и очень уж большим для этих пальчиков и ушек. Приходилось придумывать крохотные словечки — нетяжёлые, летучие; стеречься сквозняков — чтоб не унесли; опасаться даже лунного света — не по себе становилось матери, когда искривленное неведомой бедой лунное лицо рассматривало детскую кроватку сквозь оконное стекло.

Но мать колдовала и за бабу, и за деда, и даже за серого медведя — пальчики вырастали в пальцы, ушки становились ушами; кипело молоко, лилась вода, и колдовская сеть, бывшая поначалу не крепче марли, держала всё плотней. Продольные нити обычных дней переплетались с поперечными нитками выходных; вкруговую же мать укладывала свои, секретные, почти паутинные волокна: щепотку сухой ромашки в чай, букву К, вышитую на изнанке платица, кубик сахара под подушку — для сладкого, сверкающего чистотою сна.

Укрепляло колдовскую сеть и материно пристрастие к шторкам, полкам, шкафам и скатертям — да потемнее, потяжелее — превратившим две комнаты, кухню и кладовку в мудрёный лабиринт с тайниками и убежищами. Доросшая наконец до своего имени Катюша укладывала в картонные коробочки мелкие монеты, бусинки, цветные стекляшки из калейдоскопа; оборачивала сухо пахнущей шоколадом фольгой бруски пластилина — получались слитки золота и серебра; а потом рассовывала свои сокровища по углам. Чтоб не забыть, где упрятан клад, Катя рисовала карты — сначала простые схемы с пунктирами указателей и жирным, косым крестом посерединке, а после, наловчившись, — сложные, собранные из нескольких листов, расчерченные хитро, кропотливо, с нарушением всех мыслимых законов пространства размещающие на сорока пяти квадратных метрах цепочки голубых озёр, горы в острых колпаках ледников, погибший тысячу лет назад сизый лес, шумные, опасные разбойничьи города.

И пока где-то взлетали самолёты, разбегались поезда, тысячи, миллионы людей, навьючив на себя рюкзаки,

стремились в неведомое, мать с Катей укоренялись в своём доме и друг в друге бессловесной, слепой, нутряной любовью, врастающей в душу, тело и жилую площадь нервными окончаниями и кровеносными сосудами. Плакали вместе над утренней овсянкой и вместе же её съедали, щедро сдобрив вареньем; выбегали в стылую предрассветную темноту, терпели ежедневное наказание разлукой и отовсюду скорее-скорее бежали друг к другу, потому что мир на своём месте только если все свои дома, и время тогда льётся так гладко, что не заметно ни старости, ни взросления...

Как же нравилось матери всё, что пело и плыло рядом! Даже мимо галдящих на скамейках подростков мать всегда проходила с улыбкой: веселили и рваные брюки, и разноцветные рожицы на футболках, и трогательные лодыжки, голые до самых холодов. Не смущал её неумелый, нарочитый матерок, а на выкрашенных девчачьих волосах она с удовольствием узнавала знакомую цветовую основу — ну вот этот нежно-русалочий — это ж разбавленная зелёнка! — а розовый — ведь точь-в-точь слабый раствор марганцовки. Пёстрые стайки, взрывающиеся хохотом или сосредоточенно утыкающиеся в телефонные экраны, бьющие светом и прыгучей, лёгонькой музыкой; одиночки, укрывающие лица глубокими капюшонами толстовок; пухленькие изгои с газировкой и булочкой в обнимку; плохо одетые бедняжки; пышные, созревшие уже красотики и меленькие, не подошедшие ещё к цветению полудети; не справляющиеся с собственными руками и ногами мальчишки, похожие на невесть кем управляемые ниточные куклы — все они казались матери одинаковыми — милыми и чужими.

«Пусть, — говорила она, — пусть резвятся, пока молоденькие...», — и от собственной снисходительности чувствовала себя очень доброй, ни на секунду, правда, не допуская мысли, что зеленоволосой или голоногой может стать её Катюша.

Конечно, мать знала, что есть где-то несчастные, злые дети, живущие в нелюбви и оттого творящие страшное —

но их беды казались ей чем-то вроде дурного фильма — не хочешь, так не смотри, а если кто-то включил такое кино рядом с тобой, прищурь глаза, прикрой уши и гляди только на хорошее. И сама бы себе мать никогда не призналась, что её улыбка и доброта к чужим людям были равнодушием, счастливым и намеренным неведением человека, живущего на вечно-солнечной стороне улицы.

* * *

Ранней осенью, когда город оправлялся после оглушительно жаркого лета — не было такого почти полвека — Кате исполнилось четырнадцать. Хороший возраст, пушистый — так думала мать, подбирая рецепты для праздника: что там, изобретать ничего особенного не будем, курочка, пара салатиков, колбаска-сыр.

К шести пришли подружки — Катюша сошлась с ними давненько, в раннем детстве, и держались они в доме запросто. Светка — в очках и тонковатых косах — мать помнила, как малышкой она всё просила водички и могла выдуть два стакана зараз; и Викуся — бедняжка, очень уж прикус неправильный и оттого совсем мышиное личико.

Подперев щёку кулаком, мать глядела на сидящих за столом девчонок и радовалась — вот хорошо как, господи, хорошо-то как, мирно.

— Кушайте, кушайте, мои хорошие, потом и тортик будет. Ну вот, Катюш, — сказала она дочери, привычно породававшись её ладному личику, — какая ты взрослая стала.

Вспомнив собственные четырнадцать, мать взгрустнула.

— Мы совсем не так жили, совсем не так. А вам всё открыто — хочешь туда, хочешь сюда! Вот ты, Света, — с жалостью спросила она, — кем хочешь стать?

Света пожала плечами, а Викуся захихикала — ходила меж подружками злая шутка, что тяжело, со страшным напряжением всех сил учившаяся Светка плюнет и станет в конце концов парикмахером.

— Вот и Катюша ещё не решила, — посетовала мать, — а ведь ей куда угодно можно! Вот я иногда сижу и думаю,

пройдет лет десять, и останусь я совсем одна. Катюша в институт поступит, потом работать пойдёт, да глядишь, ещё и в столицы унесёт её. А что, девочка умная, с руками-ногами оторвут, а она ведь ещё и сама так ничего. — Мать покосилась на тонкие Светкины косы и вздохнула. — А там и замуж... А вдруг муж иностранец попадётся? И уплывёт моя Катюша за моря-океаны, там, говорят, добра побольше водится... А я тут буду.. Я уж своё отплавала.

На самом деле мать даже представить себе не могла, что Катя может уехать учиться или выйти замуж — всё это было далеко и невозможно. В материнских мыслях путались и никак не складывались две картинки — в одной Катя, взрослая и решительная, покоряла мир, а в другой — никогда от мамы далеко не уходила — ну, может быть, будет какая-то там работа, детки, чтобы рядышком все были, а лучше в одной квартире... О внуках мать думала с охотой, но мужчина, который заберёт Катю, начнёт с Катей жить и даже спать, казался невыносимым и ненужным. Однако разговоры о непереносимой разлуке и Катинем будущем где-то вдали от себя мать с некоторых пор считала обязательными и заводила частенько — так нужно было, по её представлению, *воспитывать*, и, к тому же, нравилось ей сладкое и тоскливое чувство, возникающее в груди при мысли о том, что нынешнее счастье когда-нибудь кончится, но ведь не скоро, не сейчас!

Девочки молчали и переглядывались. «Мешаю... — догадалась мать и встала. — Поболтать хотят. Может, господи прости, уже и мальчиков обсуждают...».

— Пойду я к себе, а вы тут уж празднуйте. Гулять-то потом пойдёте? Катюш, начнет темнеть — сразу домой...

Ночью шёл дождь, и оттого утро выдалось совсем прохладным. Нужно было доставать плащи и туфли — это простое дело всегда заставляло мать врасплох, и она сокрушалась, что никак не может угадать погоду хотя бы за несколько дней, чтоб всё сделать по уму: проветрить, погладить, встряхнуть. За суетой она не сразу сообразила, что Катя сегодня скучна и неразговорчива; обязательную овсянку одолела, но вот любимое печенье оставила на блюде.

— Ты как себя чувствуешь? — мать приложила ладонь к дочкиному лбу, — горячевата что-то... Ну-ка, горло покажи. Не видать ничего... Это Викуся твоя заразу притащила, я вчера так и подумала, она носом шмыгала тайком. Дома оставайся. Я тебе попить сделаю морса. Температуру измерь и мне позвони потом. Контрольных нет нынче?

Катя помотала головой и улеглась на диван, поджав ноги. Мать накрыла её пледом и быстро перебрала в памяти содержимое своего внушительного аптечного шкафчика: календула-ромашка есть, аспирин, витаминки, леденцы от горла, а вот брызгалку в нос надо купить. Ну и отпроситься с работы после обеда, нырнуть в овощной, в аптеку — и домой. Катины болячки мать всегда бодрили — врачую дочку, она чувствовала себя нужной, ловкой и немножко всесильной.

Спустившись по лестнице, открыв подъездную дверь и, как обычно, на секунду зажмурившись от утреннего солнца (она болезненно переносила резкие переходы от темноты к свету), мать продолжала соображать, как бы побыстрее справиться с недугом: компот сварить из вишни, если горло совсем разболится, то сухой горчицы в носки, а потом ещё можно мёду...

Катино лицо — чёткое, чёрно-белое и оттого словно бы постаревшее, хлестнуло мать по ещё слезящимся от солнечного света глазам так неожиданно, что она снова зажмурилась и остановилась. «Показалось-показалось-показалось...» — выколачивало сердце, и мать открыла глаза осторожно и медленно. Но сомнений не было — на белом бумажном листке, наклеенном прямо на морщинистый ствол тополя, чернели толстые буквы «ТЕБЕ КОНЕЦ», а под ними, перечёркнутая двумя диагоналями липкой лентой, была дочка — её густая чёлка и тёмные, широкие, как мягкой кистью нарисованные брови. Эту фотографию они сделали всего неделю назад, а потом мать собственноручно, хоть и неуверенно ткнула на маленькое сердечко на Катиней интернет-страничке, отчего сердечко из бесцветного стало ярко-красным. Мать оглянулась — ещё один белый листок с Катюшиным лицом трепетал уголками на

невысокой доске объявлений; дочкины глаза глядели с фонарного столба и спинок пустых скамеек — ТЕБЕ КОНЕЦ, ТЕБЕ КОНЕЦ, ТЕБЕ КОНЕЦ... Матери захотелось позвать на помощь, и она даже зашевелила губами, пытаясь кричать, но голова кружилась, и асфальт под ногами стал мягким, как песок. Двор был пуст, и только слышалось, как на дороге за домом разгоняются и тормозят злые, невыспавшиеся автомобили. И тогда мать кинулась к тополи, сгребла листок всей пятернёй, охнув от крошащейся и вонзившейся под ногти коры, метнулась к фонарю и скамейкам, не замечая ни грязи, налипшей на туфли, ни зябкой дождевой пыли, посыпавшейся с неба быстро и легко. Смяв листы в один комок, мать швырнула их в мусорную урну, но потом вдруг передумала и вынула обратно. Сунула потемневшую от дождя бумагу в сумку и, чуть пошатываясь, пошла на остановку.

3

«Ни минуты не посидит спокойно, вот ведь белка какая... — мать разглядывала школьную директрису с неодобрением. — Начепурилась вся, гляди-ка, нарядная, как в ресторан собралась...».

Директриса прыгала от беспрестанно звонящего телефона до набитого картонными папками шкафчика, и видно было, что этим утром не радуют её ни отлично покрашенные волосы, ни собственная должность, ни хорошее шёлковое платье, ни уж тем более ранний визит очередной, наверняка полусумасшедшей родительницы.

— Прокуратура звонила, прокуратура, я тебе говорю, просят штатное расписание им отправить, ищи, у тебя где-то было! — кричала она в телефонную трубку, а потом кидалась в полутёмный коридорчик у кабинета — там, в окружении сломанных стульев, хмурился суровый сейф.

«И не устаёт ведь на таких каблуках. Красиво, конечно, но как уж хлопотно...», — матери было чуть неловко от своей грузности и тяжёлых сапог, и очень хотелось пойти домой, а ещё лучше — вернуться на две недели назад, чтоб не знать ничего и не помнить, как ругалась на неё в поли-

ции инспекторша, не пожелавшая даже в руки взять зло-счастные листки с Катюшиной фотографией. «У меня тут два пацана на вокзале под поездом, один мёртвый, другой без ноги, а ещё изъятие сегодня у наркоманки — голодом младенца держит, а вы тут ходите! — От этих слов мать перестала плакать и попятилась к двери. — Балуется кто-то, может, подружка ревнует! На улицу не пускайте вечером, про контрацепцию и ЗППП расскажите! — Тут уж мать замахала руками и убежала, слыша вслед: «После школы нюхайте, нет ли перегара, зрочки наблюдайте и зайдите, если что, через месяц!».

Не хотелось матери помнить и другое — как в отчаянии набрала она домашний номер Катиного отца, четырнадцать лет хранившийся в записной книжке, и, сгорая от стыда — чисто кипятка глотнула, ей-богу — пыталась на-помнить чужому голосу о давнем знакомстве. И он вспомнил, хмыкнул презрительно, а после велел не звонить и ни на что не рассчитывать.

Но хуже всего было другое: неведомое матери ощущение предательства и несправедливости — от целого мира, бывшего ещё недавно приветливым и светлым. «Почему мы? Отчего?» — гадала мать и всё пыталась понять, кому так сильно могла не понравиться Катюша — это же уму непостижимо, надо ведь распечатать, да ещё и расклеить, не побояться. Матери настолько не верилось в происходящее, что, случись оно с кем-то другим, а не с ней, посоветовала бы скорее сходить к врачу и проверить зрение — вдруг померещилось? Никак не получалось у неё даже представить себе внешность злодея (или злодеев?) — не было в голове мало-мальски подходящего образа, и оттого всё рисовались ей какие-то киношные преступники, в окладистых бородах, чёрных очках и перчатках...

Хлопотунья-директриса наконец угомонилась, плюхнулась в скрипнувшее кожей кресло и, с подозрением поглядывая на умолкнувший телефон, спросила:

— Ну, что там у вас? Восьмой «Б»? Печёнкина?

Мать, всегда любившая забавное звучание своей фамилии, устыдилась и её. «Что ж это со мной, сама себе как не

родная...», — мельком подумала она, вытащила из сумки потрёпанный на сгибе листок и развернула его перед директрисой.

— Вот что. Уже третий раз собираю. Первый раз во дворе расклеили, я чуть с инфарктом не свалилась, пока с дерева соскребала и с лавок. Потом прямо под дверью квартиры разбросали, а потом просто перед подъездом по газону, мне даже дворничиха наша приносила и любопытничала, что это такое творится, и почему мы мусорим. А это ж разве мы? Как бы я мусорила собственной дочкой, а, я вас спрашиваю? — Возмущённая дворничкиными нападками мать задрожала голосом и щеками. — Не реви уже, не реви, господи, как вынести это всё, — бормотала она сама себе, не замечая, что говорит вслух.

Директриса отвела от матери глаза и вздохнула, уже сожалея, что никто не звонит.

— Катерина — девочка хорошая, учится ровно. Ни с кем не ссорится. Учителя её любят. В классе, насколько мне известно, у неё проблем нет. Я, честно говоря, не знаю, чем вам тут поможет школа. Если только полиция...

— Да была я, была! — зарыдала мать, — эта... инспекторша... сидит... младенцы там у неё с голоду умирают! А нам-то что теперь, терпеть это всё? — Мать голосила, уже не сдерживаясь. — Перегар, говорит, понюхайте, зрочки ещё приплела! Да Катя даже шампанского не пробовала, а она про эту, прости господи, контрацепцию мне кричала да на весь коридор, позор какой-то!

Директриса хмыкнула, но промолчала.

— Я ведь не знаю, куда мне побежать! — Мать вытерла глаза и шлёпнула листком по директрисину столу. — Вы мне скажите, вы же здесь главная по детям, что мне делать? Пока я даже в школу отпустить её не могу, а ведь экзамены на носу!

— Хорошо, хорошо, вы только успокойтесь, не стоит нервничать. Давайте сделаем так. Я сама позвоню в полицию от имени школы и спрошу, что можно сделать. И вам потом перезвоню, договорились?

Телефон ожил, и обрадованная его воскресением ди-

ректориса состроила извиняющееся лицо, мол, сами видите, ни секунды покоя. — Я перезвоню, — прошептала она матери, схватив трубку и прикрыв ладонью нижний её раструб. — Прокуратура? Да, слушаю вас, слушаю!

Мать поднялась со стула тяжело и неохотно — в тёплом кабинете она пригелась и размякла. Нужно было идти дальше, идти непонятно куда и что-то решать — ясно было, что эта тонконогая вертушка ничем помочь Катюше не сможет.

Директриса дождалась, когда за неприятной гостьей закроется дверь и скомкала бумажную Печёнкину в плотный шарик. Хорошая девочка, с экзаменами надо будет помочь. А бумажками, наверняка, мальчишка влюбился и балуется. Не надо никуда звонить, замучают потом проверками. А если вдруг спросят, почему не звонила, то можно сказать, что не дозвонилась — этому всегда верят, потому что дозвониться и вправду никак нельзя.

* * *

Солнечная сторона улицы обернулась тенью — не осталось сил ни на добродушие, ни на снисходительность. Мать стала раздражительной и пугливой. Дома, конечно, держалась — бодрилась и хорохорилась, но, выходя за порог, чувствовала себя шпионом в чужом мире. Ни обычаев, ни языка этого мира мать не знала, и трудно ей было справляться с обыденностью в такой тёмной, незнакомой оправе. Самое простое, доставляющее раньше такую радость — вроде прогулок по шумному утреннему рынку — теперь казалось пыткой.

Раньше мать павою плыла меж разноцветных прилавков: тут помидорные мячики, здесь влажная зелень, а там, гляди-ка, серебрятся тугие рыбы тельца, и кивает знакомый продавец — иди сюда, припас тебе лучшие на этой земле сёмгины головы. Теперь же лимонные солнца потускнели, картошка шла сплошь гнильё, а рыночные тётки огрызались, так и норовя обвесить. Мать толкали в очередях, хлопали перед её носом дверями, отдавливали в автобусах ноги, и жить ей стало словно бы тесно. Она и

сама чувствовала, что даже глядит по-другому — виновато, с готовностью к обиде, со страхом — а такого чужой мир, видимо, простить никак не мог.

Сменила тональность и музыка подростковых стаек. Не слышалось в ней ни весёлого щебета, ни лёгкости — сыпалось из детских телефонов что-то тяжко-ритмичное, то басовитое, то визгливое; идущие навстречу одиночки смотрели с вызовом; парочки не уступали узкой дорожки, и мать, ступив одной ногой на газон, и поставив на другую тяжёлый пакет с яблоками, терпеливо ждала, куда минуют её — неторопливо, вразвалочку. А как-то вечером совсем юная девчушка со злым лицом и словно бы замороженными, выкрашенными алым губами прошла мимо, вдруг выругалась и швырнула матери в лицо что-то лёгкое, холодно-влажное, вроде мокрой салфетки. Мать от испуга и омерзения сделала вид, что ничего не произошло, и даже не оглянулась, шла, как идётся, неспешно и вроде как непринуждённо, а дома тёрла лоб и щёки с мылом до скрипа и красноты.

Дома было легче. Запрёшь двери, вытрешь пыльную обувь, сдвинешь поплотнее шторы и можно жить. Дома можно попытаться собрать потерявшие натяжение нити колдовской сети, увязать их в прочное полотно — привычными делами и заботами, бульканием кипятка, шкворчанием масла и особенной вечерней тишиной, наступающей после того, как выключены кухонная плита и телевизор. И если бы знать, что утро не наступит, а вот так и будет всегда — сумеречно, тепло, сытно — если бы можно было остаться здесь не ведающим бед жуком в прочном янтаре...

Чуть легче было и оттого, что Катя всё знала: листки у квартирной двери она нашла сама, и после этого мать с облегчением запретила дочери выходить из дому, не признавая себе, что разделённая ноша её страха немного потеряла тяжесть. Катя, как ни странно, совсем не испугалась, а в ответ на материны вопросы только пожимала плечами — ни с кем ни ссорилась, никого не обижала, и что ты, мам, какие мальчики! Листала учебники, уютно

шебуршала плотно исписанными тетрадками, почти не включала компьютер и охотно хлопотала по дому, пока мать была на работе. И только после дворничихиных криков и слышанного всем подъездом безобразного скандала пришла ночью к матери и спросила, можно ли ей немножечко полежать рядом? Мать разрешила, и с тех пор Катя больше у себя не спала, и посапывала по ночам у матери под боком совершенно так же, как четырнадцать лет назад.

Приходили в гости Викуся со Светкой, глядевшие на Катю с восхищением — надо же, как в страшном кино снится, и не боится совсем! Но потом Викуся разболтала про листки своей маме, и девочкам навещать подружку запретили — вроде и глупости, но держаться лучше подальше, пусть пока там сами разберутся, что к чему.

О том, что может случиться дальше и что нужно сделать, чтобы всё это закончилось, мать с Катей не разговаривали. Меж ними вообще не было обычая жаловаться друг другу или просить поддержки; отчего-то любые серьёзные чувства — чужие или свои — вызывали у них неловкость, и обсуждали они только самое простое, вроде погоды, одежды или начинки для пирога. И теперь Катя ничего не спрашивала у матери, частенько приходившей домой с заплаканными глазами, и мать Кате ничего не говорила, когда увидела, что детские её карты сокровищ сняты с антресольных высот и обрастают новыми морями и странами. Пусть отвлечётся ребёнок, что тут такого.

Но остаться запертыми насовсем никак не получалось. Назойливый и такой недобрый теперь мир сочился сквозь закрытые двери и окна: новостями, случайно услышанными соседскими пересудами, счетами за квартиру, снегом, сменившим дожди, звонками из школы и вежливым недоумением чужих — ну сейчас-то, мол, всё тихо, никто больше ничего не подкидывает? Чего ж взаперти-то сидеть второй месяц? Эх, думала мать, поглядела бы я на вас, что бы вы на моём месте запели, как бы заплясали и куда бы побежали...

Две стены маминой спальни выходят на улицу, осенью и зимой в ней всегда прохладней, чем в других комнатах и, если надеть тёплые носки, можно играть в Арктику. Мамина кровать застелена белым лохматым покрывалом, и маленькая Катя укладывала под него подушки так, чтобы получались снежные холмы. Синий платок становился ледяным озером без рыб и водорослей — только айсберги, только густеющая на морозе вода. Между холмами прятались медведи и арктические лисы, фонарный свет за окном переливался северным сиянием, и хозяйничала в Арктике бесконечная, тихая полярная ночь.

В школе Катя часто думает про мамину комнату, и если становится невмоготу, то представляет себе, что она снова маленькая, лежит в Арктике на снегу и рисует карты полярных земель. На них звери, ледяные пещеры и горы, и нет ни одного человека, потому что обычный человек жить там не сможет. Маленькая Катя считала, что Арктика населена снеговиками, отправляющимися за полярный круг после таяния-смерти, а теперь она точно знает, что нет там ничего необычного, а только пустыня изо льда и снега. Но вспоминать про полярное королевство Кате всё равно приятно, прохладно и *отвлекательно*, потому что глядеть на всех, кто суетится рядом, ей совсем не хочется.

Правда, жить с закрытыми глазами никак нельзя, а людей рядом с каждым годом становится всё больше и больше, они подходят всё ближе и сжимают Катю в кольцо *непременного будущего*. И почему-то выходит, что жить прямо сейчас никак нельзя, потому что всё время нужно делать что-то для следующего дня, недели, месяца, года. «Вы должны стать настоящими, успешными людьми! Я желаю вам счастья и только пятёрки!» — кричит на первосентябрьской линейке школьная директриса, а потом отходит в сторонку и нервно постукивает острым каблуком по полу. Все в школе знают, что у неё муж и любовник, и что каждое лето она уезжает с любовником в Испанию, а муж остаётся дома с двумя детьми, пятилетними близнецами — тоненькими, светловолосыми, похожими на мать.

Это и есть настоящее, успешное — на пятёрку? Или вот биологичка — замурзанная, пухленькая, терпеливая, в несменяемой водолазке цвета свёклы и тугих брючках. Водолазка обтягивает её спину и живот, а лифчик она носит слишком тесный и оттого становится похожа на гусеницу в ровных, странно симметричных складках. Ещё есть историк, единственный в школе учитель-мужчина — страшно высокий и худющий. Как, должно быть, ему неловко в учительской, где одни женщины и всегда пахнет парикмахерской, потому что и кривоногая химичка, и старенькая русичка с просвечивающей сквозь кудряшки лысинкой, и грубая, крикливая англичанка на каждой перемене толкуются у зеркала и брызжут на себя лаком для волос.

Ладно, учитель — он вроде и не совсем человек, а что-то вроде напищенной цифрами и буквами машины. А остальные взрослые — соседи, прохожие — бегущие навстречу или прочь с таким странным выражением, будто лицо у них сводит к носу? Сами торопятся и всех кругом торопят, подгоняют, только и слышно: «Не толпитесь! Проходите поскорей! Нет времени! Женщина, вы всех задерживаете!». Все они безнадёжны и совсем дураки, потому что торопятся они к собственному концу — ну, а куда ж ещё?

Кате повезло. В школе она ни среди последних, ни среди первых, а где-то так, посерединке. Ноги ровные, волосы хорошие, прыщами не обсыпает, не толстеет. Одевалась бы чуть получше и была бы повеселей, приняли бы в красавицы. Но Катя в красавицы не шла, очень уж надо стараться, чтобы из них потом не выпасть, каждый день выдумывать, что надеть, как накрасить глаза, как причесаться. Вообще девчонкам очень страшно быть толстой — не пожалеют. Или если очень некрасивой быть, или странной, или — это больше для мальчишек — быть маленького роста — всё, не выберешься, считай, на всю жизнь пропал. С отверженными даже общаться нельзя, всем известно, что это заразно: ты только посидишь с ними рядом и сам сразу испортишься.

Кате не очень хочется играть в эти игры, но ей даже

невозможно представить себя на месте школьных толстух или всеми презираемого мальчика-альбиноса, или той девочки из параллельного, с крохотными глазками и совсем без ресниц — ужас!

Катя знает, что её ровесники обычных, копошащихся рядом взрослых за настоящих людей не считают, а просто ждут — совсем немного времени пройдёт, можно будет выйти из-под унижительной власти и жить уже *нормально*. Правда, никто не представляет, что такое — нормально, но уж точно не так как здесь, не так, как сейчас, не так, как все. Дайте только вырасти, вырваться, и уж мы-то никогда не будем — как вы, мы-то покажем, как надо, а вы ничего, совершенно ничего не понимаете и только всё портите!

Но никто, никто из глупых Катиных одноклассников и не догадывается, что все дети, от зарёванных первоклашек до развязных выпускников, с самого рождения хранятся в документах — в школе, поликлинике, паспортном столе. Наверняка, если хорошенько порыться, то можно найти записанным не только детское прошлое — кори, ветрянки, оценки — но и будущее, и уж точно нет в нём никакого избавления от нынешнего унижения и чужих правил. Где-то в этих бумажках есть Катя — и никак не изменить то, что для неё уже напридумывали. А ведь ей-то ничего этого не хочется. Ни любовников, ни мужей, ни детей, ни скучной, бессмысленной учёбы, ни складок на животе, ни ежедневного галопа по городским улицам, автобусам и магазинам. А хочется только лежать на лохматом покрывале и вести по бумаге тонкий пунктир от чистого ледяного озера до крутого снежного склона: под ним, в тайной пещере спрятан клад, собранный не людьми, а мёртвыми снеговиками.

* * *

Это, конечно, удивляет, но в гонке безнадёжных взрослых не участвует только Катина мама. Раздражает в ней много чего: глупо сидящие мешковатые платья, какие-то дремучие рецепты лечения простуд (чего только стоит

кипящий картофель, помогающий, видите ли, своим паром от насморка), медлительность, привычка болтать с каждым продавцом и печь блины на ночь глядя, а ещё эта манера выйти из подъезда, посмотреть на солнце и зажмуриться. Стоит, слёзы из глаз бегут, а она улыбается и объясняет: «Сейчас пройдёт. Это, доченька, куриная слепота. У бабушки твоей такая же была...».

Но вот странное дело — мир вокруг мамы успокаивается и замедляется. Она будто ловит его в свои сети, приручает, умиряет, отводит куда-то в сторону, подальше от Кати... Какое такое *непрерывное будущее*, если мы ещё чаю не пили? Пусть подождёт. А мы пока неспешно пройдём от тёплой постели до кухонного окна, на секунду впустим в дом свежий утренний ветер, радостно продрогнем, захлопнем окно и халат запахнём поплотнее. Некуда, незачем, не к кому нам торопиться, и нет ничего интереснее нас самих, нас — здесь и сейчас.

И оттого мамино предательство стало для Кати полной неожиданностью — неужели это она, мама, хлопчущая над каждой Катинной вещичкой, пугающаяся каждого её насморка, готова поступить со своей дочерью так жестоко?

Катя даже день запомнила: случилось это в прошлом году, третьего октября. Мама тогда явилась с родительского собрания, выбралась из тесноватого, *на выход*, плаща и со слегка растерянной улыбкой сказала Кате, что, мол, вот, доченька, мне сегодня объяснили на собрании, что время пришло. Катя удивилась — что такое, для чего время-то? А мама ей — рраз! — и выдала, что взростеть пора, велели всем ученикам со своим будущим определяться. Ты, говорит, доченька, уже определилась? И потом заохала что-то совсем несуразное: вылетишь ты скоро, девочка моя, из мамино гнезда, полетишь учиться, работать начнёшь, а потом и замуж выйдешь, детки у тебя свои появятся, будешь их любить, а мамочку уж побоку... Мамочка уже и не нужна будет... Ну, а как ты хотела? Никто ещё под маминым крылом на всю жизнь не оставался, а уж ты тем более не удержишься, такая ты уж у меня умница, такая красавица... Захочешь, так хоть юристом станешь, хоть

ювелиром. Или бухгалтер — вот до чего полезная профессия, твоя Викуся локти потом кусать будет, а ты всегда будешь при деле и при рубле! А захочешь, так и на иностранные языки можно пойти, вон, французский до чего ж красивый язык, а ты маленькая была, как раз картавила.

Кудахтала и улыбалась так, словно со слабоумной разговаривает. Какой бухгалтер? Какой ювелир? Какие Викусины локти? Катя тогда ничего маме не ответила, да и что тут скажешь-то? Не хочу? Не буду? Я лучше несуществующую Арктику порисую?

Сначала Катя думала, что это всё у мамы пройдет, но оно стало только хуже. И каждый день мама придумывала что-нибудь противное, словно сама себя переплюнуть хотела. Что там бухгалтер... Дело даже до стоматолога дошло! А что? В белом халате, все уважают и даже немного побаиваются! И если вдруг муж попадётся *не очень хороший*, всегда и его, и деток прокормишь, и медицинской помощью обеспечишь, потому что врачи они все заодно и друг другу помогают, обследования там, кодирования... И что самое обидное — при всём при этом вкус к собственному, спрятанному от дурацких гонок существованию мама не потеряла. По-прежнему варила по утрам кашу, уходила на работу, а потом возвращалась — с туго набитыми пакетами, азартно натирала полы, обхаживала толстокожие фикусы, радовалась сметане (наисвежайшая!) или болгарскому перцу (сочный аж брызжет!) и о Кате продолжала заботиться так же, как и всегда. Но как теперь было верить этой заботе...

Так и исчезло Катино убежище — даже в маме, даже дома не было больше защиты, и *непременное будущее*, дразнясь, выскакивало то тут, то там. Викуся со Светкой тоже на своих мам жаловались, что как с ума они походили с этим поступлением и экзаменами, но Светку мама с детства била — по губам, если не то скажет, и по заднице, если не то сделает, и Светке самой хотелось из дому поскорей сбежать хоть куда, а у Викуси родной дядька в архитектурном где-то в Москве, ей там с самого рождения место было приготовлено, она и не возражала.

Катя промучилась почти год, страшно злилась на всех вокруг: и на подружек за то, что всё уже решили и не страдают; и на маму, без устали выдумывающую замысловатое дочкино завтра; и на себя — за то, что никак не могла, как все, смириться и жить уже наконец-то в правильную сторону. Мучилась, мучилась, а потом взяла и распечатала целой стопкой свою фотографию — ту, где брови хорошо вышли. Слова «ТЕБЕ КОНЕЦ» под собственным лицом отчего-то странно бодрили, а в животе от них становилось так, будто едешь с высокой горки.

5

— Глянь, белые какие плетутся. Не местные, сразу видеть. Мы в детстве так дразнились: «Бледня бледнѣй!». Да вон, разуй глаза, вон, с вокзала вышли. А чемоданов-то! Ещё одни припёрлись, только их тут и не хватало. Сидят в своих северных задрищенках, а потом как ужалит их, к теплу захочется. Ну, солнышко у нас яркое, да, тут не поспоришь, а больше чего ж особенного? Ехали бы куда-нить к морю, вон, помнишь, мы с тобой как поженились, ездили в Туапсе? Чего там не жить? Чего молчишь-то? Будто не помнишь. Да не мычи, а отвечай нормально, если спрашиваю. Ой, гляди-ка, ругаются! Мать с дочкой, лица как похожи, правда? Наглая девка-то. Распустили тебя, малая, я бы давно ремнём, если бы мои так выкобенивались. Чего там она орёт? Сама всё расклеила и раскидала? Потому что страшно было? Чего-чего она хотела? Ничего не пойму! Что ж такое, никак не разобрать отсюда. Давай поближе подойдём, вон на ту лавочку пересядем, послушаем, интересно же!

Смотри, довела. Мать родная плачет стоит. Во семейка. Как не плачет? Смеётся? Ты чего, дурак? Слёзы-то ручьём, я ж вижу! А, и правда, улыбается. Гляди-ка, хохочет! Слушай, а вдруг они психические какие или бомбу несут? Давай-ка подальше от них, опасное дело. Пошли, пошли, чего пялишься, кинутся ещё.

ШЁЛК И КАШЕМИР

За Мишкиных родителей почти никогда не бывало стыдно. Ну, очень редко — и не за мать, а за отца — когда он выпивал чуток и прищёлкивал пальцами в такт какой-нибудь древней мелодии. А тётя Катя вообще была лучшая, всё говорила и делала как надо. «Почему была?» — подумала Ленка и закрылась одеялом с головой — вспомнила, почему. Теперь все они для Ленки как будто умерли, и невозможно, как обычно, проснуться, умыться потихоньку и свалить к Мишке на целый день. Теперь туда нельзя, потому что Мишка бросил её совсем одну навсегда.

Ленка хотела поплакать, как вчера. Но плакать не получалось — за стенкой вопил телевизор. Мама уже проснулась и гремела посудой — словно назло, в субботу, когда хочется поспать подольше. Ленка даже представляла себе, как мама ранним утром заглядывает к ней в комнату, видит, что дочка спит, и бежит скорее на кухню. Хватает поварёшку, ну или толкушку, что попадётся, и какую-нибудь кастрюлю побольше. И стучит, стучит, типа, нечего тут расслабляться, вот и телевизор погромче включим.

Ленка потянулась к телефону и уткнулась в его светлый экран. Пусто, одни чужие картинки. Ленка спрятала телефон под подушку и крепко зажмурилась — когда-то в детстве она думала, что если закрыть глаза и очень захотеть, можно вернуться во времени куда захочешь. Никогда, конечно, не срабатывало, но вдруг, если вспомнить что-нибудь правильное, получится?

Вот, можно подумать про тёти Катин одёжный шкаф. Всё там у неё разложено ровно, свободно — чтобы сразу найти. И есть специальная верхняя полка для нарядов не по размеру. «Я снова выросла вширь», — смеялась тётя Катя, но видно было, что ей это неприятно. Однажды тётя Катя на табуретку забралась, и как давай кидать из шкафа прямо на пол такие чудеса — что-то мягкое, переливча-

тое, полупрозрачное, бросая вслед каждой вещичке такие же чудесные переливчатые слова: шёлк, кашемир. «Бери, — сказала, — мне теперь зачем?». Но Ленка не взяла, конечно. Во-первых, не по размеру ей это всё было — тётя Катя крупная, высокая, а Ленка, как Мишка её называл, мелкотня. А во-вторых, куда Ленке в шёлковой белой рубашке идти? Тётя Катя тогда огорчилась, но не обиделась — лучшая же, что и говорить.

Или, решила Ленка, лучше подумать про Мишкины окна. Если на них смотреть вечером с улицы, становится так щекотно-странно. В одной комнате за зелёными шторами горит яркая лампа, в другой темно, но пляшут синеватые тени от телевизора. А окна Мишкиной комнаты составлены из узких полосок света и черноты — он ждёт и не закрывает жалюзи, знает, что Ленке нравится самой с ними управляться. Она придёт, заберётся на подоконник, покрутит лёгкую пластмассовую палочку, глядя во двор, где стояла ещё пять минут назад, и словно разделится на две Ленки: одна ещё там, у пустых качелей, под мелкой дождевой россыпью, а вторая уже здесь, в безопасности и тепле.

А ещё вернее будет, если хорошенько, с усилием, подумать про самого Мишку. Ленка, когда его первый раз увидела, сразу поняла, что ни за что, ни в коем случае вселенная не повернётся таким счастливым боком, чтобы Мишка к ней подошёл и с ней заговорил. А вселенная взяла и повернулась. Он такой был (опять — был! Он же есть, есть!) сияющий. Когда улыбался, или задумывался, или скучал — всегда лучился чем-то непонятным изнутри. Как будто точно знал, что бы ни происходило вокруг, ему это не повредит, потому что внутри у него свежо и чисто, как первым снегом усыпано. И был он как-то верно, точно собранный: вот к таким волосам нужны именно такие плечи, а к таким глазам — только такой и никакой другой подбородок. Разве мог он — такой — сначала быть с Ленкой долго-долго, целых полгода, а потом сказать, что больше не хочет её видеть, что ему очень с ней было весело, но всё закончилось насовсем?

Ленка зажмурилась сильнее, чтобы попасть в тот вечер, когда они с Мишкой первый раз гуляли по набережной. Тогда Ленка одной рукой вела по шершавому, нагретому солнцем камню, закрывающему от них серое речное полотно, а другой — держалась за Мишку. И никогда ещё ей не было так хорошо и спокойно — так, как надо, и пропало наконец-то это вечное чувство стыда за себя и за всё, что вокруг неё. Будто бы Ленка во всём этом виновата. А она ведь совсем не при чём.

* * *

Когда-то Ленкина мама с гордостью говорила, что живут они в самом центре города, и что тихо, но в то же время всё рядом. И садик Ленкин, и школа, и скверик симпатичный — гуляй не хочу.

Весной сквер утопал в талой воде, летом — в тёплом, как звериная шёрстка, тополином пухе, осенью — в россыпи палой листвы, зимой под снегом — начисто, наглухо, безнадежно. Посреди сквера стоял памятник, обсаженный шафраном, и бабушка всегда маму поправляла — не шафран, а бархатцы. На голове у памятника пакостили голуби, по-своему понимающие красоту — плещущие крыльями, говорливые, хлопчущие стаи.

Никто не знал, но Ленкин двор на самом деле был как будто островом — это она ещё в первом классе придумала. Выплываешь из него — мимо гаражей, по узкой тропинке, и плывёшь до сквера. Там снова суша, и можно поглядеть на рыжий шафран. А потом опять плыть — по асфальтовой речке тротуара до школы. Пять минут пути, и бросаешь якорь на высоком школьном крыльце.

А двор и вправду походил на остров. Огороженный со всех сторон, солнечный и тихий, с густыми газонами, толстыми, вечными тополями и буйно цветущими кустами сирени. Ленка росла, но во дворе ничего не менялось, лишь уменьшалось в размерах и слегка тускнело. Где-то за пределами острова сносили деревянные бараки, выстраивали новенькие многоэтажки, превращали старые булочные в аптеки или пивные, открывали магазины — с

шумом, музыкой и воздушными шарами, а на Ленкином острове по-прежнему росли одуванчики, бродили непуганые коты, бледные сонные женщины всё также толкали перед собою детские коляски, завесив сердитые младенческие личики дымчатой тканью — чтоб не сглазили; и простыни на балконах сохли всё те же — в полоску, крапинку и цветок.

С острова, напрямик со скамейки у подъезда увезли в больницу Ленкину бабушку, и Ленке до сих пор казалось, что дойди тогда бабушка до двери, ничего бы страшного не случилось. Обратного бабушка уже не вернулась, и с тех пор всё посыпалось: квартиру продали и уехали куда-то на скучную окраину, и Ленке пришлось пойти в другую школу, где все были чужие, и никому до неё дела не было.

Она съездила пару раз в центр, в старый двор, но мамы с колясками глядели с подозрением, коты шарахались, а все балконы вдруг разом застеклили. Ленкин остров ушёл под воду, ей совершенно некуда было идти, и стало страшно стыдно за себя и собственное нелепое существование. Стыдно за свои нескладность и худобу, за то, что одна комната у них завалена хламом — как привезли кучей со старой квартиры, так и оставили. А больше всего стыдно за маму — за её слишком белые, жидко распущенные по спине волосы, глупый плащ и шаткие каблуки, бессмысленную возню на кухне и всегда, всегда неудавшиеся пироги — обгоревшие сверху и сырые внутри.

И пока Мишка не появился, Ленка даже разговаривать нормально ни с кем не могла, прятала глаза и заикалась, и от этого в новой школе её считали чокнутой. А Мишка всё исправил: сказал, что она похожа на Кайли Миноуг, только стриженная, и встречал каждый день после уроков. Оказалось, что он эту же школу закончил год назад, и все его там знали. И с Ленкой все одноклассники сразу стали здороваться и спрашивать, как у неё дела. И Мишкина мама попросила называть её тётей Катей и улыбалась ласково, Мишкин папа выпивал чуток и перебирал стопку древних пластинок, обещая включить такое, такое! — а Миш-

ка с тётёй Катей переглядывались, как сообщники, и посмеивались над ним, будто над маленьким ребёнком.

* * *

Чтобы отвлечься, Ленка шаталась по квартире туда-сюда. Останавливалась в коридоре, у зеркала, и разглядывала себя. Птичье личико, острые коленки, короткая стрижка. Лёгонькая, миленькая, неосновательная — как с такой остаться навсегда? Для «навсегда» нужна совсем другая стать, не пух и перья, а мрамор и безупречность. «Шёлк и кашемир...» — всплывало в мыслях у Ленки, и она снова принималась реветь.

Главное, не вспоминать, как вчера не выдержала и потащилась к Мишке — поговорить ещё разочек, ну, вдруг всё неправда и всё, что сказано, можно отменить. Окна его глядели как обычно, и очень больно было понимать, что там, наверху, Ленку никто не ждёт.

Она вошла в лифт, нажала на четвёрку и слушала, как гудят где-то металлические тросы и стучат неведомые механизмы — так же сильно и упорно, как её собственное сердце. Лифт открылся, и Мишка стоял перед ней — собрался, видно, прогуляться.

Ленка шагнула вперёд, уткнулась носом в его шарф и испытала какое-то райское чувство возвращения. Он опустил ладони на её плечи, и Ленке на секунду показалось, что Мишка сейчас обнимет её как всегда. Но он только отодвинул Ленку от себя и сказал тихо и твёрдо:

— Всё, Лена, всё. Я же говорил уже.

И сил у Ленки осталось ровно на два шага назад — от Мишки до открытого ещё лифта. Стальные половинки сдвигались, закрывая от неё Мишкино лицо. В последнюю секунду он вдруг помахал ей на прощание, лучась, как всегда, своим неведомым внутренним светом, и его улыбающиеся губы сложились в беззвучное «Пока-пока!».

Ленка захлопнула за собой тяжёлую подъездную дверь и побрела куда-то, добросовестно переставляя ноги, очень стараясь оказаться как можно дальше от всего, что случилось, от своего стыда, и от себя тоже, и забрела вдруг так

далеко, что перестала узнавать дорогу. От растерянности она даже перестала плакать и подняла голову, соображая, как бы теперь вернуться и где же тут остановка.

Тётя Катя в незнакомом Ленке жёлтом пальто шла на встречу легко, будто бы на цыпочках, и держала под руку мужчину — не Мишкиного папу, а другого, очень высокого, с насмешливым, обросшим густой чёрной щетиной лицом.

Ленке показалось, что, не держись тётя Катя за своего спутника, унеслась бы, как воздушный шарик, выше крыш. Мужчина смотрел на тётю Катю жадно и отчего-то немного удивлённо, а она, смеясь, говорила что-то быстрое, потом уткнулась в его плечо лбом и даже, кажется, на секунду прижалась губами к коричневой коже его куртки. И вся она была незнакомая, презрительная ко всему вокруг, а Ленка почему-то сразу вспомнила, как Мишкин папа, щурясь, щёлкал пальцами под музыку и говорил: «Это, Ленусик, не ваши нынешние дрыгалки...».

Тётя Катя встретила с Ленкой глазами, отвела взгляд безо всякой паники и смущения — будто бы от совершенно чужого человека, и прошла мимо, не потеряв ни презрения, ни лёгкости шага.

Этого Ленка снести не смогла.

— Екатерина Сергеевна! Екатерина Сергеевна! Тётя Катя! — выкрикнула она вслед жёлтому пальто.

Тётя Катя остановилась, сказав бороде что-то негромкое, отцепилась, наконец, от его рукава и повернулась к Ленке.

— Ну что тебе, Леночка, что ты хочешь? — спросила она с неудовольствием, стала вдруг выглядеть так, словно её только что разбудили, тряхнула головой и улыбнулась легонько. — Ладно. Давай так — я с Мишей сама поговорю, попрошу его, чтобы он насчёт тебя передумал, ну, а ты никому не слова про... — она не договорила, подняла брови и кивнула в сторону чернобородого. — Понимаешь?

— Что? Что я понимаю? — закричала Ленка. — Я ничего не могу понять! Да идите вы все! — и пошла прочь бы-

стро, и ещё быстрее, а потом побежала, и бежала так долго, что закололо в боку, как в детстве, когда опаздываешь в садик и никак, никак не поспеваешь за скорым маминым шагом.

* * *

Мишка позвонил поздно вечером.

— Знаешь, Лен, — проговорил он как-то неуверенно — так, словно кто-то стоял рядом с ним и подсказывал нужные слова. — Я тут подумал, может, мы поторопились? Хочешь, завтра погуляем? Я за тобой сам зайду.

Ленке снова стало стыдно, но не за себя, как раньше, а за него — невыносимо стыдно и жалко, что всё вот так может получиться и ничего тут исправить нельзя. И даже представить было противно, каково ему — звонить вот так и говорить такое?

— Нет, Мишенька, не пойдем, — сказала Ленка. — Всё, значит всё. Тётя Кате привет.

Она выключила телефон, перевернула его экраном вниз и совершенно расхотела плакать. Из кухни слышался рассыпчатый стук — наверное, снова будут пироги, и эти крошечные хлопоты ножа о доску вдруг показались Ленке похожими на аплодисменты.

УПРУГОСТЬ ТОНКИХ ОБОЛОЧЕК

— Ты посмотри! Посмотри только! — Ромашин смеялся и тряс передо мной растрёпанной книжкой с оранжевой обложкой. — «Некоторые вопросы теории ползучести»!

Он повалился на стул и прижал книжку к груди.

— Ух... Ползучесть! Отнесу домой, покажу Сонечке. Она такие штуки любит. Никогда эту химию не понимал, но тут — прямо проникся.

— Это физика, — сказала я, но он снова засмеялся и меня не услышал.

Оказалось, что неведомый шутник разбросал старые университетские учебники по всему этажу. На подоконнике у лифта нашли «Теорию колебаний», а в мужском туалете, у раковины — «Термоупругость тонких оболочек». Колебания Ромашину отчего-то не приглянулись, а вот тонкие оболочки привели в восторг. Он насочинял корявых стихов, врывается в кабинеты, поднимал вверх руку и декламировал — с завыванием и пылом.

*Термоупругость тонких оболочек
Мне не даёт покоя никогда,
И я...*

Но дальше не выдерживал, хохотал и убежал в коридор, хлопнув дверью.

Я досиживала в офисе последние две недели, и в начале февраля должна была уехать из своего города навсегда — далеко-далеко, на юг. Там ждал меня любимый друг — так он называл себя в электронных письмах, но я никак не могла понять, зачем, куда и к кому я отправляюсь так скоро. Никак не получалось представить себе зимним курортный городок, в котором я была только летом, и который теперь — сквозным, безлюдным — видела каждый день на фотографиях. И никак нельзя было осознать, что тут без меня останется целый мир — угрюмый и шумный, по-

крытый многослойным одеялом из почерневшего снега, мороза и смога.

Работать толком я уже не могла, но что-то писала и распечатывала, относила начальнице и послушно исправляла перечёркнутые красной ручкой страницы, слушая и не понимая ни слова. На меня махнули рукой — что взять с уже нездешнего, почти исчезнувшего человека, и делили между остающимися мой компьютер, стол и шкаф с пластиковыми папками. Я и сама чувствовала себя полупрозрачной и ненастоящей, не нужной толком ни здесь, ни там, где второго января зацвёл миндаль, а на рождество шёл долгий, тихий дождь. По ночам мне снилось, как я сажусь в поезд и растворяюсь где-то между Екатеринбург и Челябинском, а друг всё пишет и пишет мне на рабочую почту, шлёт свои фотографии, а они тихо-тихо, как зимний дождь, падают в спам.

Ненадолго возвращал меня в реальность только Ромашин — шумом, неуклюжестью и бесконечными рассказами о сестрёнке Сонечке. Весь офис знал, что десять лет назад Ромашин приехал в город из деревни, отучился, нашёл работу и забрал к себе сестру.

— Чего ж ей, киснуть там, в глуши? — волновался он, — а здесь город, чисто. Культура!

Над ним посмеивались — говорил он, как старик из советского фильма, одевался по-дурацки, обедал прямоугольными кусками хлеба вприкуску с розовой колбасой, и всё рассказывал, рассказывал про свою Соню.

Я никогда его внимательно не слушала, но всё равно знала, что Сонечка разводит аквариумных рыбок, не любит математику и собирается учиться на врача. И эта чужая, далёкая жизнь, передвигающаяся параллельно моей, казалась мне знакомой и родной; и поэтому ромашинские хохот и прыжки никогда меня не раздражали. Мне только было немного жаль его — нас всех ждало какое-то солнечное, переливающееся будущее, и квадратные комнаты офиса были лишь первой ступенькой к счастью, а ему — нелепому, в глупых ботинках, оставалась лишь сестра и бесконечные разговоры о ней.

— Смотри-ка! — Ромашин шлёпнул передо мной на стол коробку с разноцветными пряниками-снеговиками. — Какая красота! Соню порадую, она обожает снеговиков, у неё даже пуховик такой есть — синий, а на спине снеговик нарисован. Представляешь?

Я кивнула, очень хорошо представив себе пухленькую старшеклассницу в огромном пуховике, и огорчилась немного. Как я там, на юге, буду совсем без снега?

— Это тебе, — сказал вдруг Ромашин, достав из коробки пряник. — Не грусти. Всё непременно будет хорошо.

И унёсся к себе в кабинет — крохотную полукладовку в самом конце коридора.

Пожав плечами — надо же, подарок от Ромашина! — я открыла почту и принялась рассматривать новые фотографии от любимого друга — залитую дождём набережную, жемчужно-серое море, пустые скамейки у воды и круглые шары-фонари из тонкого прозрачного стекла. «Термоупругость тонких оболочек» — вспомнила я и подумала, что эти слова и вправду очень ловко могли бы уложиться в строчку стихотворения о весне и будущих листьях, упрянтанных в нежные зелёные почки. Мне захотелось так же, как Ромашин, забежать в соседний кабинет к бухгалтерам и прокричать что-нибудь про оболочки, подвывая на гласных буквах и еле сдерживая смех. Я вдруг позавидовала Сонечке — должно быть, ей никогда не бывает скучно, грустно и страшно.

— Какая хорошая девочка, — прошептала я, стараясь думать о своём солнечном будущем и непременно счастье. Ну и пусть начнётся оно с зимнего дождя. Но миндаль-то, миндаль — зацвёл второго января, видели вы когда-нибудь такое?

Вернувшись домой, я бродила туда-сюда, стараясь вести себя уверенно, по-хозяйски, но не могла обмануть ни холодильник, ни ванну, ни даже кровать. «Тебя скоро здесь не будет, — шептали они, — тебя почти уже нет...». Тогда я открывала шкаф, смотрела на ровно, покойно висящие на плечиках шёлковые блузки и гладила их по пустым рукавам.

* * *

— Знаешь, что, — сказала я утром в четверг, поймав несущегося мимо Ромашина за полу пиджака, — ты приходи ко мне сегодня после работы, часов в восемь. Я уеду через три дня, одежду перебираю и всё с собой брать не хочу. Может быть, что-то твоей Сонечке подойдёт?

Он смутился, засмеялся было, но потом нахмурился, кивнул, записал мой адрес и ровно в восемь уже торчал на пороге, никак не решаясь войти.

— Ну, чего ты встал? Заходи, — сказала я, уже не радуясь своей внезапной щедрости, но тут же жалея Ромашина за смущение и общую несурзность.

Ромашин разулся и пошёл по комнатам, легонько трогая стены, а я смотрела ему вслед и не могла понять, почему он выглядит так непривычно. Потом сообразила, что ни разу не видела его в носках. «Больше и не увижу!» — подумала я, и от этого вдруг развеселилась.

— Вот, — сказала я ему и распахнула шкаф. — Это всё мне точно не нужно. Твоя Сонечка какой носит размер? И вообще, чего ты её с собой не взял? Сразу бы и примерила.

Он как-то неопределённо махнул рукой и промычал что-то невнятное, не отрывая глаз от передаваемых мною платьев — не видать им далёкого юга, и судьба им остаться здесь, в неведомых Сонечкиных руках. И тут я вспомнила, что ни разу не видела не то что самой Сони, но даже её фотографии, и ни разу она не приходила к Ромашину на работу, и ни разу, по крайней мере, при мне, он не говорил с ней по телефону, да и вообще не звонил никому и никогда.

А Ромашин всё смотрел в шкаф, не хохотал и не метался, и не рассказывал ничего — ни о сестре, ни обо мне, ни о теории ползучести, ни даже о пряниках-снеговиках. Мне вдруг стало неуютно и страшно, и очень захотелось поскорее оказаться подальше от этого города с его космическим людским одиночеством и беспощадной, бесконечной зимой.

— Ну же? — прошептала я, — что-то же ей подойдёт? — и испугалась ещё больше при мысли о том, что он сейчас может заговорить.

* * *

На следующий день Ромашин на работу не пришёл, и на звонки никому не ответил. И последний день в офисе, что мне остался, был наполнен общим недоумением и пересказами того, как парнишка-курьер прибежал к Ромашину домой, звал и стучал без толку, а после позвонил в соседнюю дверь и узнал, что Ромашин со вчерашнего вечера дома не появлялся, и что никакой сестры у него нет, и что живёт он тихо и совсем один.

А в воскресенье я уже смотрела на толстое, надёжное стекло вагонного купе, и никак не могла сфокусировать взгляд на том, что мелькало за окном. Неслись мимо меня смутные заснеженные поля — белые, серые, чёрные — лотна без дорог и следов, гремело вагонное железо, оживлённо переговаривались попутчики, и мне казалось, что я — будто бы после долгой обездвиженности и тишины — тоже очень оживлена и подвижна.

ФОРМУЛА КРУГА

*И, конечно, никто в этом не виноват:
глядя в полдень на небо, мы видим асфальт,
глядя в полночь на небо, мы видим асфальт.*

Лишь асфальт, а не солнце и звёзды.

Сергей Лёвин

1. ТЕПЕРЬ

Занавесок в отделении водной терапии не водилось. Окна смотрели в закрытый внутренний дворик; изредка, очень не торопясь, проходил мимо них уличный работник — то с лестницей, то с ведром. Боковое зрение развил он чрезвычайно, но, к своему огорчению, мог разглядеть лишь смутные, белесые, плавно передвигающиеся тени.

Длинные ванны, спаренные по две, царили в разделённых невысокими кафельными перегородками отсеках; кафелем же, розоватым, матовым, укрыты были стены и пол.

— Гляди, Вер, я прям русалка.

Ванна слева называлась кислородно-жемчужной — лежащие в ней покрывались сетью мелких серебристых пузырьков, и впрямь похожих на рыбу чешую.

Женщина в правой ванне, составленной из горячей воды и загадочного, остро пахнущего ёлками порошка, хмыкнула.

— Лежала я там вчера. По мне, так больше на плёнку похоже оберточную, знаешь, такая, лопается с треском, пупырчатая?

— Сама ты пупырчатая. — Жемчужная обиделась и повела руками, лишив себя серебряной одежды.

Хвойная обиды не заметила и прикрыла глаза. От горячей воды, тишины и собственной обнажённости наполнила её томная слабость — хотелось то ли чаю, то ли танцев.

— Ещё целая неделя у нас, — проговорила она, не открывая глаз. — А поглядеть и не на кого. Одни бабы!

— Не сезон, — ответила жемчужная и вздохнула. — Вчера, правда, приехал новенький, и совсем один, видела? Но молоденький, зараза, и сорока нету.

— Ну его, молоденького. У него глаза совсем больные. — Хвойная перевернулась на живот и закачалась в зелёной воде, ухватившись за бортик и чувствуя кожей скользкую гладкость эмали. — Я, Нин, тебе сразу скажу. Я ж кадровик, я их насквозь вижу. С этим и связываться нельзя, увязнешь хуже болота. К нам такой в прошлом году приходил, на работу хотел. А я ему сразу — а чего не женат в тридцать-то восемь? Он так и сел, не знал, чего сказать. Не взяли его, короче.

— А какой, какой он был-то? Кривой, что ли? — заинтересовалась жемчужная.

— Да нет. Обычный, симпатичный даже. Чернявый такой, с бородкой. А глаза — вон, как у новенького — чисто пёс уличный несчастный.

— Много их таких, что говорить, — подытожила жемчужная и снова вздохнула. Опечалилась и хвойная, думая о чём-то своём.

Молчание нарушил кашель — явно мужской, низкий, доносящийся из соседнего отсека грязевых обёртываний. Прочистив горло, сосед снова притих, а женщины, переглянувшись, захихикали, ощущая себя шкодливymi девятиклассницами. Веселья хватило до самого вечера; а перед ужином всё ещё пахнущая ёлками хвойная извлекла из чемодана узкую бутылочку самодельного коньяка, продлив хорошее настроение почти до отбоя.

* * *

Милка сидела тихо — как и договаривались, под кроватью.

Темнело, и номер наполнился особенной, свойственной только гостиничным пространствам тишиной, до отказа переполненной бывшим и будущим человеческим присутствием.

— Иди сюда, — прошептал Митька. — Гулять пойдём.

Милка выползла из-под своего панцирного убежища осторожно, не цокая когтями и не позволяя себе глупостей вроде скулежа или тьяканья. На руки пошла безропотно, хоть и знала, что сейчас Митька спрячет её под куртку, а там ей будет неудобно и жарко.

Распахнув окно, Митька полез на улицу, оберегая от случайных ударов твёрдое собачье тельце и в который раз удивляясь Милкиной несуразности. Вроде мелкая, приземистая, а тяжёлая — страсть! И неудобная вся: вон, всякая породистая собачья мелочь так ловко усаживается на хозяйские руки, будто под них и заточена, а эта уроженка улиц неловко собрана из углов, скользкой шерсти, палки хвоста, да ещё морды длинной, толстоносой... Милка, похоже, свою нелепость осознавала и сидела тихо, не шевелясь, словно бы стараясь не причинять хозяину ещё неудобств.

Митька спрыгнул на асфальтовую дорожку и поспешил мимо тёмного ряда окон первого этажа, мимо тусклых, ошетилившихся сухой травой газонов, мимо басового дрожания музыки, составляющей развлекательную ежевечернюю программу. На узкой пустой аллее, ведущей к озеру, освободил Милку от курточного плена, и она побежала рядом, тихо фыркая и встряхиваясь.

В зябкой осенней прохладе и сумерках особенно понималось, каким лишним и бессмысленным пришёл на эти берега человек. Дела людских рук — серые санаторные корпуса, путаница асфальтовых дорожек, клетушки беседок, — сохраняющие кое-какое достоинство днём, по вечерам гляделись неловко и словно бы побаивались тянущихся к вечернему небу голых тополиных ветвей, чернеющей озёрной глади и далеко, за лесом, звонко и жалобно кричащих птиц.

На скромной озёрной пристани, удерживающей парочку дряхлых лодок, Митька остановился и уселся на серые занозистые доски. Теперь нужно было дожидаться полной темноты — в этих краях она глубока и беззвучна.

По-хорошему, не стоило бы тащить Милку на этот

странный и нежданно приключившийся отдых — здешние правила строго-настрого запрещали присутствие любого домашнего зверя. Но в городе её оставить было не с кем, а отказаться от пришедшей через третьи руки путёвки в санаторий — не морской какой-нибудь, не южный, а местный, плохонький, в двадцати километрах от города — отчего-то не вышло.

Но на деле оказалось не так уж худо — кормили порядочно, мазали пахучей грязью, купали, да так аккуратно, что Митька чувствовал себя то ли детсадовцем, то ли стариком. Отдыхающие — сплошь женщины средних лет — по утрам глядели сурово; днём брали ванны и совершали моцион, а после ужина, нарядные, тяжело, но с душой танцевали в нарочно для них затемняемом вестибюле. Вечерние танцы Митька наловчился пережидать у озера — гулял с Милкой, промерзал на ветру, возвращался к себе и засыпал так крепко, как никогда не спал дома.

— Молодой человек, ваша собака не кусается? — Женский голос раздался так внезапно, что Митька вздрогнул. — Я опасаюсь незнакомых животных.

Пожилая женщина стояла у пристани, опираясь на трость. В полутьме трудно было разглядеть её лицо: коротко стрижена, тёмноволоса, в очках — вот и всё, что видно.

Милка тихонько тьякнула, и женщина подняла трость, будто защищаясь. Держала она своё оружие словно меч — наискось перед собой, и от этого Митьке стало смешно и стыдно.

— Нет-нет, не кусается. Ни разу никого не укусила, только обляять может, да и всё.

— Ну, хорошо, — протянула женщина и опустила трость. — А вы?

— Что я? — не понял Митька.

— А вы не кусаетесь? — спросила женщина и тоненько хихикнула. — Я вас частенько вижу — ходите возле озера в темноте. Я ведь тоже тут ближе к полуночи прогуливаюсь, люблю, знаете ли, когда никого нет. А собаки здесь запрещены, между прочим. Вы читали? Об этом ещё в санаторной книжке предупреждают.

2. ТОГДА

— Читал, — ответил Митька, и ему расхотелось смеяться, но стыд никуда не делся — столько ночей тут гулял и думал, что совсем один. Он представил, как женщина смотрела на них с Милкой сквозь деревья, опираясь на трость, и ему стало не по себе. И как это он её ни разу не заметил — должно быть, она страшно неуклюжа со своей палкой?

Словно в ответ на его мысли зашумели облетевшие тополиные верхушки — под этот свистящий шелест и свист женщина сказала что-то ещё, что — Митька не расслышал, но на всякий случай кивнул.

— Я скоро уеду, — сказал он только затем, чтобы что-нибудь сказать.

— И очень хорошо сделаете, — женщина развернулась, медленно и аккуратно переставляя трость. — Санитарные правила нужно соблюдать. Всего хорошего, молодой человек. Извините.

Митька смотрел ей вслед и думал, что хорошо бы было её догнать, взять под руку и спросить, почему ей так нравится гулять, когда никого нет, да ещё и в темноте. И ещё что-нибудь спросить, о чём-то поговорить — о чём-то же она разговаривает с людьми? А потом он каким-то собачьим, нутряным чутьём понял, что прямо сейчас отправится она к дежурной, или ночной — как там она называется — медсестре. А когда он вернётся к открытому окну, в комнате будет гореть свет, и глянут на него сверху сердитые женские лица и одно смущённое мужское — разбудят на всякий случай того мужичка, что бегает у ванного отделения с лестницей и ведром.

— И это правильно, — пробормотал он, — вдруг я всё-таки кусаюсь?

— Милка! Мил! — он подскочил и свистнул в темноту. — Иди сюда.

Если пойти напрямик, не по тропинке, а через рошу, вполне можно эту хромоножку опередить. Вещи собрать, Милку на поводок и до шоссе — оно проходит недалеко, за озером, стелется между пустыми полями и крестами электростолбов до самого города. Кто-нибудь да подберёт.

Городская жара, составленная из автомобильного шума, духоты и шелеста ещё свежей тополиной листвы, в тени костёла утихала. Открытую калитку миновали с презрением; кованую ограду, будто бы нарочно снабжённую рядками удобных завитушек и перекладин, одолели без труда, а после спрятались от глаз прохожих на крохотном пятачке пустого заднего двора. Упираясь пропотевшими спинками футболок в прохладный красно-рыжий кирпич, мальчики поглядывали то вправо, на глухой забор, то влево — на тёмное дерево двухэтажного дома, построенного когда-то для настоятеля и его семьи, но давно уж отданного под музыкальную школу. Из открытых по случаю жары окон лилась идущая то вверх, то вниз не музыка даже, а музыкальное передвижение, не смелое, но упрямое.

Чтоб не прогнали, говорить приходилось тихо, смеяться и вовсе не стоило; всякому понятно — двое пацанов, пыльные сандалии, чумазные лица — непременно задумали пакость. Но в мыслях у мальчишек ничего дурного не было — они набегались и устали; жарко, во дворе никого, а на реку нельзя.

— Мать строго-настрого запретила, — полушёпотом говорил Митя, — вчера старшаки катамараны упёрли, а хозяин проката сказал, убьёт всех, кто к пристани подойдёт.

— Да знаю я, — отмахнулся Коля. Он всегда знал чуть больше друга — накоротке был с пацанами постарше, развлекавшимися зло и опасно. Ломали гаражные замки, тащили чужие велики, рушили скамейки и клумбы, а вчера вот угнали пяток ржавых катамаранов с речного проката. Вреда большого не получилось: разбили цепи и пустили лёгкие посудины по течению, до первой отмели. Но хлопот вышло много — и хозяин проката, одышливый, дочерна загорелый, вправду был теперь слишком сердит, а руки у него были крепкие. Лучше переждать жару в тени; потом и вечер наступит, и воскресенье придёт, а там, гля-

дишь, и вырастешь так, что можно будет ходить с лицом наглым и презрительным, и никто не треснет тебя по затылку и не спросит, чего это ты такой дерзкий.

Как же хотелось Коле поскорее стать большим и пройти по двору вот эдак — наискось, смело, поплёвывая. И Митя пусть рядом идёт, хоть и нет в нём ни того вида, ни наглости. Зато друг — пусть и разные они, но ведь так похожи: нет до них никому никакого дела, всё они сами по себе, всё несутся куда-то, по-птичьи вскидывая острые локти и коленки. И дружба у них выходила птичья: в мелкой возне с камушками, стёклышками, деревяшками и ручейками; в перебранках и тычках; в беседах лёгких и пустых — из междометий и обрывков.

— Мать говорила, тут священник жил когда-то, — кивнул в сторону музыкальной школы Митя.

Коля пожал плечами — старшие пацаны о таком ему не рассказывали, и протянул только обязательное для продолжения разговора: «и чё...».

— Он нарочно себе этот дом выстроил, чтобы поближе к замку быть, он там вроде как работал по своим священским делам.

Замком мальчишки называли костёл, выстроенный почти столетие назад, прослуживший по назначению меньше пяти лет и после оборачивающийся то складом, то студией звукозаписи, то музыкальной филармонией. Зубчатая стена его фасада, вонзающиеся в небо острые стрельчатые башенки, круглое витражное окно над тяжёлой дверью, плоское крыльцо — всё это затейливое, костистое и сухопарое — чудно и странно высилось меж наскоро собранного, приземистого здания телевизорного завода и серых бараков общежитий. Музыкальная школа — бывший дом настоятеля — прижималась к левому боку храма верным, на всё готовым слугою, уставшим, но ещё живым стражем.

Белостенные церкви с луковками-куполами, тихо и аккуратно встречающие прихожан на городских окраинах, мальчишки с чудным замком ни за что бы не связали, да и слова такие восьмилетним оболтусам были неведомы:

храм, католики, православные. А слова эти, меж тем, были; время сохраняло белые и красные стены, но ни следа не оставляло от человека. Сгинул, претерпев невиданные мучения, и отец-настоятель, толком не обживший ни костёл, ни светлую, пусть и небольшую квартиру в пахнущем свежим деревом доме. Ещё путались в оконных створках только что выстиранные летние занавески, шевелились на сквозняке страницы открытой книги, тревожно переговаривались на крыше голуби, а его тело с разбитой головой и сломанными руками скинули в неглубокий овражек за картофельным полем — далеко, очень далеко от города. Трава здесь росла густо и высоко, путались меж собой корни старых пней; испугавшаяся было шума и криков гадюка вернулась в своё гнездо, дождавшись тишины. Позже эти места разделят под дачные участки — счастливым достанутся ровные, а уж кому не повезло — с ложбинами.

— Может, в разведчиков? — спросил Митя заскучавшего друга. — Давай как будто мы здесь прячемся в засаде.

— Ты чё, дурак? — усмехнулся Коля. — Разведчики в засаде не сидят. Они трофеи несут. Вот если бы тут где-то вражеский штаб сделался, мы бы туда проникли.

При мысли о трофеях мальчишки оживились, забыв об усталости и жаре.

— Давай как будто вражеский штаб вон там, — прошептал Коля, кивнув в сторону открытых окон. — Слышишь, они замолчали вроде?

Робкое музыкальное передвижение и вправду стихло. Хлопнула дверь. В оконном проёме парусом поднялись и опустились лёгкие жёлтые шторы.

— Пошли, — Коля говорил так тихо, что слова его можно было угадать лишь по движению губ. — Ты прикрывай, а я гляну.

Мальчишки метнулись к открытому окну. Митя прикрывал — вертел головой, прищурил глаза, а Коля, прижав к левому плечу крепко сцепленные ладони, целился указательными пальцами в полуденное небо.

— Никого, — шепнул он, заглянув внутрь. — Я мигом. —

Подпрыгнул, подтянулся, упёрся исцарапанной коленкой в занозистый подоконник и пропал из виду.

Митя испугался и перестал щуриться. Это было слишком — даже старшаки, пожалуй, на такое бы не решились — как-никак, школа, пусть всего лишь и музыкальная.

— Колян... Колька, ты куда? — зашептал он куда-то вверх. — Совсем, что ли? Давай назад!

Из класса послышался негромкий треск — будто ломалось что-то хрупкое, сухое. Митя, с колотящимся где-то у горла сердцем, медлил — бежать? Кричать? Тоже лезть внутрь? Но пару секунд спустя Коля появился рядом — кубарем скатился с подоконника, отбиваясь от липнущей шторы и задыхаясь. Он пихнул Мите в руки какие-то деревянные обломки, сложил перочинный ножик и хлопнул друга по плечу.

Хохотать начали уже у кованых завитушек ограды, карабкаясь вверх, а потом вниз, оскальзываясь и чертыхаясь. Едва коснувшись узкой дорожки тротуара, рванули к дому — по безлюдным, укутанным в летний зной улицам, наплевав на светофоры и полоски пешеходных переходов; не бежали, а летели, наполненные смехом и почти непрерывным, распирающим мелкое мальчишечье нутро чувством близости друг к другу.

Деревянные обломки Митя сунул в карман и вспомнил о них только вечером, перед сном. Трофеями оказались три клавиши пианино, выломанные перочинным Колькиным ножиком из гладкого чёрно-белого ряда.

Митя подумал, что пианино будет теперь шербатое, и сунул трофеи под подушку. На следующее утро он завернул клавиши в газету и упрятал свёрток в недра своего письменного стола — туда, куда и мать не добиралась с уборкой. Сначала Митя всё ждал, что к нему придут — участковый или кто-то из музыкальной школы. И даже спалось ему тревожно. Но никто так и не пришёл — ни к Мите, ни к Коле; начальник проката скоро сменил гнев на милость, и можно было не скучать, шатаясь неведомо где, а снова с утра до вечера торчать у катамаранной пристани под бледной ивовой тенью.

Поднимаясь по вытертым деревянным ступенькам крыльца музыкальной школы, Женя уже не чувствовала ничего особенного и с недоумением вспоминала себя прошлогоднюю — всё ждала, дуручка, что придёт к ней какой-нибудь печальный призрак, расскажет что-то такое... тайное. Больше всего хотелось ей оказаться в компании женской призрачной тени: молоденькой прихожанки костёла или шустрой, кудрявенькой священниковой кухарки. Но года работы хватило, чтобы понять — все призраки и тени отсюда выветрились, и все следы их вымели и закрасили. Осталась скудно посещаемая электронная страничка: пять-десять абзацев, умещающих в себе рождения и смерти, а ещё фотографии — на них-то Женя углядела и кухарку, и кучку смущённых прихожанок в длинных тёмных юбках и платках, повязанных по моде столетней давности.

Сегодня по скрипучим полам шагали дети — бледные, до скрипа умытые, смиренные. Разбредались по классным комнатам учителя — особое племя с нервными пальцами и острым, как игла, слухом. Заглядывал в окна музыкальных классов краснокожий костёл; будто бы смеялся над робкими упражнениями учеников, лился из него нездешний голос органа.

«Когда-нибудь и я такой же стану... — думала Женя, заходя в учительскую и оглядывая неспешно прихорашивающихся коллег. — Устрою себе сложную причёску и буду кричать на детей. А потом буду вытирать тряпочкой стол и пить чай. Может, это и не так уж плохо...»

— Представляете, оказывается, хуже лунного камня может быть только янтарь, — скрипачка Елена Петровна закрыла яркий журнал и принялась по своей обычной привычке пересказывать прочитанное. — Пишут, что натуральные камни нынче не в моде. Бусы, брошки, браслеты, вот это всё должно быть из драгоценного металла. Не запрещена и качественная бижутерия.

— Вы, Елена Петровна, ещё бы в интернет залезли. На-

шли чему верить. — Директриса поправила воротник блузки и открыла пудреницу. При взгляде в зеркало она вытягивала губы и слегка щурила глаза, принимая вид презрительный и оскорблённый. — Женечка, включите чайник. Будьте добры.

Добавка вежливости, выданная после недолгой паузы, привела Женю в привычное раздражение, похожее на изжогу — поднимается к горлу, а после опускается и утихает.

— И ещё пишут, что тонкий трикотаж нынче не актуален... — не унималась Елена Петровна. — Ну, тут я совсем ничего не понимаю. Что плохого в трикотаже, вы мне можете объяснить? Тепло, по фигуре сидит, всю жизнь носить можно.

Женя нажала на кнопку чайника и смотрела, как рождаются в его прозрачном стеклянном животе первые маленькие пузырьки кипятка. Значит, хуже лунного камня только янтарь... Женя представила себе шкатулку, полную лунного камня, тускло-перламутрового, голубоватого, как разбавленное молоко, или янтаря, лежащего неровными, но оглаженными кусочками, жёлтого и будто бы съедобного.

Чайник щёлкнул, выключаясь, директриса с треском разорвала блестящую оболочку чайного пакетика и протянула Жене чашку.

— Половину налейте. Пожалуйста.

«Лунные камни, лунные камни...» — подумала Женя и встала, собираясь выйти — урок должен был вот-вот начаться.

— Женя, стойте, — директриса поставила чашку на стол и захлопнула пудреницу. — Я должна с вами поговорить. Вчера вы снова забыли закрыть окно в нижнем классе. А я не раз вам говорила, что это недопустимо! Вы, может быть, меня не слышали? Так я повторю!

Женя в который раз подивилась директрисинуму умению держать ритм и тональность разговора, не увеличивая скорости, но плавно повышая громкость. Тридцать лет хорового пения — это не шутка.

— Я повторю! — для значительности сказанного дирек-

триса встала, с грохотом отодвинув стул. — Вы, может быть, не помните моих слов? Но рисковать детьми и инструментами я вам не позволю!

Директриса заговорила так громко, что Женя перестала различать её слова и с досадой вернулась мыслями во вчерашний день — надо же, опять забыла... Историю про открытое окно знал всякий — тридцать лет назад, когда директриса только пришла в музыкальную школу простой хоровичкой, неведомые злодеи забрались в класс на первом этаже и выломали несколько клавиш из новенького, только что купленного пианино. В порче имущества тогда обвинили молоденькую хоровичку — это она распахнула окно — и до сих пор самым страшным её ночным кошмаром оставался беззубый, искалеченный инструмент, издающий вместо привычных звуков человеческий стон.

— ... чтобы этого не повторялось! Сделайте одолжение. — Голос директрисы вернулся к прежней громкости, Женя кивнула и вышла, избегая сочувствующего взгляда Елены Петровны и подавив в себе желание поаплодировать. Урок её прошёл как в тумане — мало кем любимое сольфеджио в этот раз несло пытки не только тугим на ухо ученикам, но и самой учительнице.

* * *

— Раз, два, три, четыре, пять... — Миша пересчитал коробки и отметил что-то в блокноте. — Ты чего так долго, я уже полчаса жду.

— С директором поссорилась, а потом пробки... — ответила Женя и распахнула дверь. — Давай, заноси.

Миша перетащил коробки из подъезда в коридор и снова пересчитал их. Внутри коробок шелестело и поскрипывало что-то сухое и мелкое. Свой неизвестный груз Миша приносил к Жене по вторникам, а забирал по воскресеньям. В понедельник, среду, четверг, пятницу и субботу Женя привычно обходила коробочную баррикаду, стараясь не сердиться: квартира её была близко от какого-то склада, а эти коробки отчего-то на складе появляться не должны — Миша объяснял, отчего, смеясь и подми-

гивая, но объяснений этих Женя так и не поняла. Бог с ними, с коробками, не так уж много места они занимали, но мучительным было другое — что же пряталось за этими картонными стенками? Год назад Женя постеснялась спросить, а теперь уже и не решалась — почему-то теперь спрашивать было неловко. Шелестит, пересыпается, ничем не пахнет, почти ничего не весит..

— А чего поссорились-то? — спросил Миша, устраиваясь поудобнее за кухонным столом. — Я тебе давно говорю, бросай ты это болото и перебирайся к нам.

Женя представила, как перебирается из своего музыкального болота в нечто неведомое — сухое и шелестящее, а потом подумала, что слишком много сегодня представляет, и от этого, наверное, всё идёт наперекосяк.

— А что бы я у вас делала?

— Ну, сначала можно товар по коробкам раскладывать. Это совсем не сложно. Берёшь...

— Нет! — перебила его Женя, поняв вдруг, что совсем не хочет ничего знать о том, как, что и куда нужно будет разложить. — Не надо!

— Ну не надо так не надо, чего кричишь, — удивился Миша. — Нервная ты со своей работой стала. Всё забываешь. Опаздываешь. Самой не надоело?

Женя выключила плиту и обернулась. Миша смотрел на неё вопросительно и равнодушно, светлые волосы его, как обычно, были как-то глупо разделены пополам и заправлены за уши, и пуговицы на рубашке расстёгнуты слишком низко.

Попробовать объяснить? Что не просто так она сидит в этой музыкалке, и что только там ей место, потому что под царящей в классных комнатах и коридорах повседневностью чувствуется ей чья-то давняя жизнь — слабо, еле слышно, но чувствуется, и очень важно это чутьё не потерять, а как потеряешь, так и кончится всё насовсем и навсегда.

Или, может быть, объяснить про свои родные края, в которых кругом бараки, бараки и густейшая, всегда наисвежайшая слякоть даже летом. И как зимой замечает посёлок по самые крыши так, что и на улицу не выйдешь, а

соседи всё орут и колотят в стену, когда чудится им, что Женя шумит, а ведь сидит она тише мыши. Или как Женя была уверена, что весь мир, вся планета кружится стремительно и вольготно, и только её домишко вместе с нею забыли, и он стоит себе совсем один безо всякого движения и надежды, а внутри него теплится сумеречный, дрожащий свет, какой бывает от тусклой — вот-вот сгорит — лампочки.

Или как мать привезла её, восьмилетнюю, в город, к дальней родне, погостить: говорила, сестрёнка там твоих лет, подружитесь, но сестрёнка дружить отказалась и обсмеяла Женины голубые рейтузы и кофту на толстых пуговицах. Но Жене даже не было обидно — она уже встретила своё счастье, и пока мать ошеломлённо бродила по магазинам, сравнивая и ужасаясь, Женя торчала у кованой ограды костёла, пытаясь расхрабриться, войти в калитку и потрогать рыжую кирпичную кладку. Две острые башенки упирались в небо, светился между ними белый цветок витражного окошка — всё нездешнее, будто не взаправду выстроенное, а нарисованное кем-то неведомым для игры, баловства, ну, или, может, волшебства какого.

Ничего подобного в её посёлке не водилось — и вся поселковая жизнь была полной противоположностью *этому*, коричнево-оранжевому, стрельчатому. Женя пыталась найти особенные слова, чтобы запомнить свой восторг, удержать его внутри, но нужных, подходящих слов придумать не получалось. «Красиво. Как же красиво», — твердила она про себя, и чтобы отдохнуть от этой непереносимой красоты, переводила глаза на деревянный двухэтажный домик, притулившийся чуть левее. В него входили и из него выходили дети — кто так, налегке, а кто — со скрипичным футляром или гитарой в плотном чехле.

«Всё что угодно сделаю, — обещала себе Женя, — но сюда вернусь». И шла обратно к чужой, уклеенной пёстрыми обоями квартире, где жила родня и фыркала на неё стородная, ни за что не желающая дружить сестра. Возвращаться не очень хотелось, и она торчала во дворе до

сумерек, прячась за беседку или деревянную горку. Отсвет той красоты падал на всё, что было рядом: на заваленную палой листвой, никому не нужную песочницу, на толстые тополя и облетевшие кусты сирени, на мелкого мальчишку с толстой головастой собакой, на спешащих домой взрослых и даже на кучку курящих подростков, делающих взрослые, суровые лица — как бы досталось им от настоящей, безжалостной поселковой шпаны!

— Хорошая у меня девка растёт, тихая, а отец-то её ох буйный был... Бил так, что я вся была синяя, сплошняком, от шеи до пяток, — с гордостью откровенничала мать за кухонным столом, пытаясь разговорами отблагодарить родню за уют и подарки — обувь, шапки, куртки и невиданные для поселковой жизни кухонные мелочишки: перечницы, солонки, салфетницы. Родня — узкоглазая тётка Марина и её муж, будто бы нарочно на диво глазастый — жевала губами, считала дни — пахнущая печкой гостья со своей молчуньей-дочкой обещала стеснить лишь на пару дней, а жила уж неделю...

Чем-нибудь вообще можно измерить это расстояние — от той девочки в толстых варежках, Женьки-Алкиной девочки, до нынешней Жени? Дорога от посёлка до города составлена из километров, и для времени есть свои выкройки — часы, дни, года. А чем, как отсчитать силу того рывка, на первый взгляд невозможного, но совершённого ею вопреки слякоти и тусклым лампочкам безо всяких там плафонов? И ведь даже пела нечисто, и живого пианино до окончания школы ни разу не видала, а теперь — гляди-ка, преподаёт соль-фед-жи-о. И разве вообще всё это можно кому-нибудь объяснить, а уж тем более этому неприятно-светловолосому Мише — таскает неизвестно что туда-сюда, да ещё и умудряется это неизвестно что приоровывать...

— Нет, в музыкалке мне не надоело, — отозвалась Женя и неожиданно даже для себя добавила. — Мне ты надоел.

— Слушай, я пойду лучше, не надо мне твоего супа, — обиделся Миша и встал. — Давай до воскресенья ты успокойсь и нормально будешь говорить.

— Да иди! — закричала Женя, сожалея, что не умеет так, как директриса — с переливами и возрастающей угрозой. — И коробки свои заberi! И вообще больше не приходи! Ни в воскресенье, ни во вторник, вообще никогда!

— Да пошла ты. — Коротко сказал Миша. — Давно тебе хотел сказать, что ты чеканутая. Не связался бы с тобой ни за что, но живёшь от склада близко.

Он поставил невесомые картонные кубы друг на друга, ловко подхватил получившуюся колонну и ушёл, пнув напоследок дверь.

Женя, похолодев, смотрела ему вслед. В животе ёкало, сердце стучало. Но не потому что кончились наконец-то эти бессмысленные и невесомые встречи — оно, наверняка, к лучшему, а потому что окно в нижнем классе, похоже, снова осталось открытым.

4. ТОГДА

Собака появилась осенью, когда уже началась учёба. Мысли ещё хранили летнюю свободу — будто бы не всерьёз, понарошку пришёл сентябрь, и в любой момент — стоит только захотеть — можно вернуться назад, в сияющую компанию июня-июля-августа.

После уроков, шедших тоже будто бы вполсилы, Митя с Колей по привычке убегали к реке. Прокат уже закрыли, катамараны убрали на зимовку, от серебряной речной воды веяло прохладой, но довольно было ещё и тепла от причала, и зелени в листьях, и чистого, не потерявшего ясности неба.

— Эй, пёс, — сказал Колька и протянул руку к пыльной собачьей морде. — Эй ты, бродяга...

Бродяга откликнулся на Колину ласку не захотел и отвернулся, глядя на Митю.

— Это не пёс, а псица... — хохотнул Коля, — смотри-ка, ты ей понравился.

Собака ткнулась мокрым носом в Митину ладонь, фыркнула, а потом уселась рядом, прижавшись тугим, ровно дышащим боком к его ноге. Эта нехитрая формула

счастья — вода, причал и собачье тепло — тут же сохранились в Мите там, где пряталось самое важное, вроде памяти о коробке с ёлочными игрушками, тихо ждущей своего часа на антресолях, или о диковинной рыбе из шоколада, полой внутри и плотной, глянцевого снаружи.

— Ну, завёл подружку... — вздыхала мать, глядя, как Митя таскает вниз, во двор, то хлеб, то кашу. — Весь дом объест, аферистка... Да ещё и цапнуть может — что у ней на уме-то, а?

Но собака вела себя скромно — при встрече с Митиной матерью прикрывала глаза и будто кланялась, опуская круглую, по-дурацки большую голову и аккуратно шевеля хвостом, и благодарно ела всё подряд — от супа до сухарей. В квартиру её, конечно, не пустили, но разрешили спать под дверью — благо, соседи против бесплатного охранныка не возражали.

Митя назвал её Милкой, пропустив мимо ушей Колины издёвки — разве так можно называть настоящую мальчишечью собаку? Псиное имя должно быть строгое, суровое — Альма, или там, Гильза, ну, Вьюга на худой конец. Чтобы только кликнул, и она тут как тут, с рыком выдирает из глотки противника хороший кусок. А тут что... Милка... Чисто корова, а не пёс.

На «корову» Митя обижался, но Милка и вправду была какой-то коровьей расцветки, и по-коровьи смиренная. Обижался и Коля — не признался бы, но обижался: отчего эта глупая псина так откровенно и сразу его не полюбила?

Детская дружба постепенно таяла, и не только Милка была тому виной. Всё кругом стало таять, обретать неприятную, режущую глаз чёткость, стало обретать разницу — и не замечать её никак не получалось.

За лето Коля вытянулся и повзрослел — рослый для своих девяти, он чем-то неведомым заслужил благосклонность пацанов постарше, был ими принят и одобрен. И если в сентябре друзья ещё играли вместе — у пристани, во дворе или на длинных рядах гаражных крыш, то в октябре Митя остался совсем один, не считая Мил-

ки и непрочных ещё, существующих только под школьной крышей приятелей. При старшаках Коля с Митей теперь не здоровался, а если сталкивались один на один — просто кивал, сплевывая и хмурясь озабоченно, будто очень занят.

Митя не сердился — дураку понятно, Коляну там веселей. Но если б позвали его туда — в вечерний гогот под окнами, в горький, но такой взрослый запах сигарет, в непонятный железный скрежет и стеклянный звон — помчался бы, не медля. Но Митю не звали — и по вечерам вместе прогулок приходилось открывать окно, вглядываться в живую, шевелящуюся внизу темноту, различать в спичечных вспышках лица и радоваться отчего-то, если слышался вдруг знакомый голос.

Митины родители сначала всё спрашивали — где же Коля, а потом и спрашивать перестали; жалели, но чужли — говорить тут ничего не нужно, лишнее. Но ободрить мальчишку хотелось и, поразмыслив, пошептавшись, решили пустить Милку в дом — тем более она уж давно потеряла уличную выправку и обрела вид домашний, сытый, приличный. Добыли коврик — коричневый, под цвет Милкиной шерсти, а ещё ошейник и крепкий поводок.

— Ну, аферистка, обустроилась... — ворчала мать, но под показным её недовольством Митя почувствовал радость — и страшно хотел мать обнять крепко-накрепко, как маленький.

Собака быстро стала частью семейной повседневности, но на самом деле к ней привыкли уже давно, и новостью стал только обязательный ритуал ежевечерних и ежедневных прогулок.

Гладкую, облагороженную ошейником Милку не гнушался выгуливать и отец — чаще всего по утрам, совмещая знобкий холодок восхода с первой сигаретой. По вечерам выходил Митя, стараясь не задерживаться во дворе, сразу обогнуть дом и скрыться на невеликом пустырьке у мусорных баков.

Вслед ему неслись смешки — поначалу почти беззлоб-

ные. Громче всех смеялся Коля и всё твердил, вызывая одобрителный гогот, что-то про пастуха и его жирную скотину, и Митя точно знал, что нужно ему делать вид, будто он ничего не слышит, ну, или вроде как не понимает, что это ему, потому что если это понять, нужно будет и ответить.

Не замечать слова и смех — это просто. Можно закашляться и пройти мимо, пряча лицо в горсточку ладони. Или глядеть в сторону и улыбаться — вроде как тоже посмеиваться над кем-то, кто очень смешной и, конечно, заслужил и хохот и обидные слова. Или, проще всего, пробежать быстро, как только сможешь — ну торопится человек, что тут удивительного. Но если вместо слов и смеха окружили тебя, взяли в плотное кольцо — тут уж улыбайся не улыбайся, беги не беги...

Пацаны стояли кругом, и Митя вглядывался в их лица — надо же, ведь знал каждого, сколько себя помнил, а теперь будто незнакомые, совсем чужие. Он частенько видел, как брали в кольцо других — но то всегда были посторонние, случайно или намеренно забредшие во двор с вражеских улиц. Вот Коля здесь же — он тоже звено этой кругом натянутой цепи, но он-то, он-то свой, да и вообще — что плохого может случиться здесь и сейчас, под окнами многоэтажки, где все они — и старшие, и он, Митя, живут вместе?

— Пусти, — сказал Митя почему-то только Коле, и, глядя тому в глаза, шагнул из середины круга вперёд, к плотно стоящим звеньям. — Пусти, собаке надо.

Пацаны стояли равнодушно, молчали — ждали.

— А ты иди, пастушок. Мы не держим, — нетвёрдо сказал Коля, и все лицо его как-то странно задрожало — то ли заплачет сейчас, то ли засмеётся.

Но ни плакать, ни смеяться он не стал; ловко — Митя и двинуться не успел — схватил собачий поводок и отскочил назад, волоча Милку за собой.

— Э, ты чего? Стой! Ты чего, Колян? — крикнул Митя, но пацаний круг разомкнулся, стал линией — между Митей и поскуливающей Милкой.

— Ты иди, иди, — отозвался Коля. — Попасись один пока что.

После несильного, но до слёз обидного пинка, Митя развернулся и рванул к подъезду, услышав вслед ленивое: «За бате́й побежал...» и чей-то ответ: «И чё?...».

Задыхаясь, Митя ворвался домой и, подскакивая от ужаса, услышал, как льётся с улицы в открытую форточку хохот и собачий визг.

— Пап... Там пацаны... Милку забрали! Пошли скорей! — от быстрого бега колело в боку и говорить толком не получалось.

Отец поднял голову от своей газеты и снял очки. Прислушался.

— Ну? Чего ты? — прыгал Митя. — Пап?

Отец, не торопясь, выглянул в окно — но видно ничего не было, совсем уж стемнело. Мать выглядывала из ванной, тёрла полотенцем мокрые руки и молчала.

— Ботинкиними, не топчи, — сказал отец. — Не надо куда ходить, — он подошёл к Мите и стал расстегивать на нём куртку — он делал так ещё пару лет назад, когда приводил сына из детского сада.

Будто к незнакомцу, глянул Митя в отцовское лицо.

— Да раздевайся ты, чего стоишь, — сказал отец.

Митя рванул к двери. Получив затрещину, остановился. Сел на корточки у вешалки, закрыл уши руками.

Отец постоял рядом и ушёл на кухню — по вечерам он любил чаёвничать в одиночестве. Как сквозь туман, ждал Митя знакомых звуков: вот сейчас польётся вода, вот чиркнет спичка... Но отец — быстро, сердито шагая, вышел обратно и сгрёб с вешалки куртку.

— Да что ж мне теперь! — ответил он на материно «Куда-а..» и захлопнул за собой входную дверь.

Прижав ухо к шершавому дерматину, Митя услышал, как позвонил отец в соседние квартиры, и как говорил что-то сначала пучеглазому мужу тётки Марины, а потом дворнику — лысому деду Капкову. А потом наступила тишина, и ничьих голосов больше не было слышно: ни человеческих, ни собачьих.

Вернулся отец скоро — и десяти минут не прошло, но Милки с ним не было.

— Видать, убежала, испугалась, — виновато сказал он Мите и матери, пряча зачем-то руки в карманы. — Я и не видел её. Темень такая.

Митя молча потянул отцовские руки на свет. Тот не сопротивлялся, раскрыл ладони — и были они густо измазаны липким, красным, смешанным с клочками коричневой шерсти.

— Не дышала она, Мить. Завтра Капков посветлу её на пустырь отнесёт, прикопает, а потом к участковому сходит, пожалуется. Иди, ложись. Поздно уже.

* * *

Горя в Мите не было. Не нашлось в нём места для такого горя — и чувствовал он себя так, словно нет у него внутри вообще ничего, словно его спина и живот — плотно прижатые друг к другу бумажные листы. Заснул Митя быстро, и снилось ему лето — замок, открытое окно музыкальной школы, перочинный Колин ножик и сам Коля, и будто бы Милка была тогда с ними и ни разу не гавкнула, вот молодчина.

Утром он проснулся, глянул на пустой Милкин коврик и пожал плечами. «Не может быть, — подумал. — Этого не может быть. Этого не было».

В школу собирался как обычно, только завтракать не стал. Вышел во двор, постоял у подъезда, глубоко вдыхая осеннюю прохладу и повторяя про себя: «Не было вчера, не было. Ничего не было». Поглядел, как грузятся в такси тёти Маринины гости: девчонка его лет — две недели всё таскалась по двору как тень, такая невидная, что никто с ней не заговорил ни разу; и, наверное, её мать — крупная, горластая, в блестящей косынке.

Такси тронулось, тётя Марина махала вслед.

— Думала, не доживу.. — говорила она мужу, сохраняя приветливую и вроде как сожалеющую об отъезде улыбку. — Напьюсь сегодня с радости.

Пучеглазый дядька — тётя Маринин муж — тоже улыбался, махал и кивал.

— И я напьюсь. — Ответил он жене и хохотнул. — И плевать на гастрит!

«Улыбаются. — Подумал Митя. — Значит, точно не было ничего. Ничего не было».

Он мимолетно позавидовал невидной девчонке — как было бы здорово сесть сейчас в такси и поехать куда-нибудь далеко-далеко. Может быть, она живёт где-нибудь в чудесном месте, и там из бледной тени превращается в отчаянную красавицу или вообще — колдунью? Ведь наверняка где-то есть оно — неизвестное «далеко-далеко»? Какие-то земли, совсем непохожие на здешние? Чтобы замки, мощёные улицы — как, должно быть, звонко стучат по камням лошадиные копыта! А вслед за всадником несётся целая стая узкомордых, кудрявых, тоже ненашенских собак.

При мысли о собаке что-то щёлкнуло внутри, изменилось — и стало свободным, просторным, будто весь мир вдруг очутился в Мите, а снаружи не осталось ничего.

«Ничего, ничего. Не было ничего, — подумал он с удовольствием, наблюдая за собой внутренним, — ничего не было».

Мир снова щёлкнул и перевернулся. Зашумел, закружился, раскололся и отпустил обратно к Мите собаку — головастую, с толстым хвостом, перепачканную землёй и несокрушимо живую. Дёргая шкурой и фыркая, собака выбралась из мокрой чащи бесцветной повядшей полыни, обогнула мусорные баки и понеслась к дому. Когда Митя обнял её — обхватил не одними руками, но всем телом — она мелко задрожала и тепло выдохнула в его лицо.

5. ТЕПЕРЬ

У ворот костёла пахло свежей краской. Уже совсем стемнело, но плотные облака, затянувшие небо, сделали темноту светло-серой; тихо светился белый цветок витражного окна, собирался дождь.

Тридцать лет назад калитку в кованых воротах не запирали, но теперь красовался на ней тяжёлый замок, Митька подёргал его, проверяя на прочность, и сел рядом, упираясь спиной в холодные прутья. Милка покрутилась возле — обнюхала пустой газон и фонарные столбы, а потом улеглась у Митькиных ног — и тепло её мягкого бока он чувствовал даже сквозь толстую кожу ботинка.

Мимо, по слабо освещённому тротуару, усыпанному мелким мусором и листьями, прошли две женщины с цветными пакетами, пробежал сутулый мужичонка — отворачиваясь, пряча лицо в куцый воротник, а следом за ним девушка в красной куртке — сначала она миновала калитку, но потом остановилась и вернулась.

— Извините, пожалуйста, — сказала она смущённо, но твёрдо. — Вы не можете мне перелезть через ограду?

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Сергей Лёвин. Тектонические разломы, «негерои»</i> и надежда на лучшее.....	3
Страна весны.....	6
Подозрительные вещи и забытые предметы.....	14
Цум байшпиль.....	24
Ателье «Зима».....	29
Венегрут и Вокобан.....	35
Будь моим деревом.....	41
Не шкаф, а шифоньер.....	57
Время красных птиц.....	60
Куриная слепота.....	66
Шёлк и кашемир.....	92
Упругость тонких оболочек.....	98
Формула круга.....	104

Литературно-художественное издание

Ирина Иваськова

Страна весны
Рассказы

Редактор Николай Дорошенко

Технический редактор Елена Косырева

Подп. в печать2023 г. Формат 84х108 1/32

Бумага офсет №1. Гарнитура Newton C.

Печать офсетная. Печ. л.: 4

Тиражэкз. Заказ №

АНО «Редакционно-издательский дом «Российский писатель»

тел.8-962-965-51-64

sp@rospisatel.ru

www.rospisatel.ru

Отпечатано в типографии ООО «Буки Веди»

117393, Москва,

вн.тер. г. Муниципальный округ Обручевский,

ул. Профсоюзная, д. 56, этаж 3, помещение XIX, ком. 321